ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ, том III, часть II (1910—1912)

Предисловие Б. Кузьмина

Публикация К. Бугаевой

В своеобразной мемуарной трилогии, над которой работал Андрей Белый в последние годы жизни, он намеревался описать всю свою жизнь до революции 1917 года.

В первом томе этой трилогии («На рубеже столетий», 1930) Андрей Белый довел свои воспоминания до 1901 г. Второй том («Начало века», 1933) охватывает период с 1901 по 1905 г. Третий том автор предполагал посвятить периоду 1905—1917 гг.; этот том должен был состоять из двух частей. «В первой части третьего тома воспоминаний, — писал Андрей Белый, — удар внимания перенесен на Россию, особенно на Москву; во второй части — центр внимания: заграничная жизнь до и во время войны; лишь конец ее посвящен России накануне революции».

Белый успел закончить только первую часть, которая и вышла в 1934 г. в качестве третьего тома воспоминаний под названием «Между двух революций»; однако, изложение событий кончалось в нем 1910 г. Из второй части третьего тома написаны были только две главы, которые и публикуются ниже.

Первая часть третьего тома воспоминаний носила характерное название «Омут» (опущенное при печатании книги). «Надеюсь, читателю ясно заглавие этой части, — *писал в конце ее Белый.* — *Шесть лет с 1905 года до конца 1910* — есть прохождение сквозь омут человека, засосанного им; прохождение через годы реакции, через горчайшие испытания личной жизни, через разуверение в людях... через картины растления неустойчивых слоев интеллигенции в огарочничестве, в душной наркотике эротизма...». Для всей этой части характерно «чувство тюрьмы», переходящее в надежду на возможность «побега». Последняя глава («Отъезд») и рисует картину побега: Андрей Белый вместе с Анной Алексеевной Тургеневой (в воспоминаниях Ася) *уезжает за границу;* «...*впереди ожидали: гондолы,* Венеция, жаркий и грозный Неаполь, Сицилия, великолепный Тунисский залив. Средиземное море, пирамиды Египта и сфинкс, поглядевший в глаза тайной жизни и предложивший ее разрешить».

Вторая часть должна была начинаться описанием путешествия по Африке.

Во время путешествия Белый вел путевые заметки, которые были обработаны им в 1911—1912 гг. Но изданы были эти заметки только в 1921 г. под названием «Офейра» (русское издание) и затем, с незначительными добавлениями, в 1922 г. под названием «Путевые заметки. Сицилия и Тунис» (берлинское издание). В обоих случаях был издан только первый том заметок, в котором описание путешествия доводилось до прибытия в Радес. Поэтому в своих воспоминаниях Белый не останавливается на этой, уже известной читателям, части путешествия и прямо переходит к дальнейшим его этапам: Радес—Каир—Иерусалим. Этому и посвящена вся первая глава печатаемых воспоминаний, отчасти пересказывающая второй (неопубликованный) том «Путевых заметок».

В описании путешествия по Африке Андрей Белый имел блестящих предшественников. Подобное путешествие описали Флобер в своих «Письмах» и Мопассан в очерках «Бродячая жизнь». Как и заметки Андрея Белого, это тоже были повести о бегстве. Флобер бежал из Франции через год после установления буржуазной республики 1848 г., утвердившей надолго царство буржуазной ограниченности и лживой апологетики в культуре; Мопассан свои очерки начал словами: «Я бежал из Парижа и затем покинул Францию, потому что меня навязчиво преследовал вид Эйфелевой башни». Эйфелева башня, воздвигнутая на всемирной выставке 1889 г., была для Мопассана символом всей буржуазной культуры.

Однако, эти большие художники были сами — по-разному и в различной степени — отравлены буржуазной культурой, и бегство не удалось им, ибо нельзя убежать от самого себя. То же нужно сказать и об Андрее Белом. Больше, чем кто-либо из предшествующих художников, Белый находился в плену буржуазной культуры, притом в ее худшем, упадочном выражении. Его восприятие окружающего мира более субъективно и идеалистично, он во всем видит лишь символы мучающих его вопросов. Понятно, что и в египетской мумии он увидел лишь образ того, от чего он бежал: символ иссохшей, трухлявой европейской культуры. Но в способности всюду читать этого рода символы проявляется и критическое отношение Андрея Белого к вскормившей его буржуазной культуре.

Здесь нужно оговориться: следует иметь в виду склонность Андрея Белого переосмыслять свои воспоминания. Путевые заметки, написанные в 1911—1912 гг., по горячим следам, были собранием красочных пятен и отрывочных, непосредственных наблюдений. После этого Белый пережил увлечение антропософией Рудольфа Штейнера, занимался в Дорнахе построением мистического иоаннова здания. Поэтому в 1919 г. все путешествие переосмысляется Белым, как подготовка к принятию «откровений» антропософии. В отрывке, вписанном в «Путевые заметки» в 1919 г., Белый писал: «Сказка пути предстояла: вела она... в Дорнах; был должен раздаться откуда-то издали Голос Безмолвия; Тунисия, Африка были сигналами: отдыхом перед подъемом в горы: стоял впереди непосредственно Сфинкс, ожидал: — гроб господен; и далее — издали высился купол иоаннова здания».

В этом же мистическом плане переосмысляется путешествие в «Записках чудака» (1919 г.) — полубеллетристическом произведении, где сам Андрей Белый носит имя Леонид Ледяной, а Ася называется Нелли (отрывок из «Записок чудака» о путешествии по Африке предпослан в качестве вступления к «Путевым заметкам»).

Когда в последние годы жизни Андрей Белый берется за воспоминания, происходит новое переосмысление. Теперь он сближает свою позицию во время войны с позицией Циммервальдской конференции, — разумеется, не имея к тому ни малейших оснований, — наивно уверяет даже, что в Италии 1911 г. разглядел «дух фашизма».

Истина заключается в том, что восприятие действительности было у Андрея Белого чрезвычайно противоречивым, и — при его символическом мышлении — неопределенным и многозначным. Поэтому в разные моменты своего духовного развития он подчеркивает и выдвигает на первый план различные оттенки своих прошлых переживаний и размышлений.

Вторая глава публикуемых воспоминаний касается кратковременного возвращения Белого в Москву и его работы над «Петербургом». Тесную связь первой и второй глав раскрывает сам Белый в отрывке «Древний Каир», включая туда куски из эпилога «Петербурга». Темой «Петербурга» являются «Египет XX века» и попытка найти «исход из Египта». В схематических плоскостных фигурах египетских фресок Андрей Белый увидел намек на мертвящую бесчеловечность возникающего кубистического искусства и всей культуры империализма. Ему казалось, что «самые жесты, с которыми полицейские подымают белую палочку, напоми-

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Портрет Н. Андреева. Акварель 1923 г.
Местонахождение оригинала неизвестно



нают жесты египетских человечков на фресках». «Английская мумия оказалась мертвее египетской».

В «Петербурге» эта тема нашла выражение в образе Аполлона Аполлоновича Аблеухова с его стремлением по-казенному европеизировать государственную машину, подчинить все живое мертвящей регламентации. Аблеухов любит только прямые линии, он хотел бы охватить весь мир земной сетью проспектов — этих «пространств для циркуляции публики», его нервы успокаиваются от созерцания бесконечной нумерации домов, у себя в доме он пронумеровал все полки, введя географические обозначения: полка «б», северо-запад.

В образе Аполлона Аполлоновича — сила «Петербурга». Не без основания указывалось в критике на связь этого образа с толстовским образом все собой подавляющего черствого и рассудочного чиновника Каренина. Аблеухов явился воплощением русской государственности, многие черты его взяты из облика Победоносцева. Правда, время, когда

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,

в те годы было уже в прошлом. Победоносцев уже не играл той роли, что прежде, и в романе Андрея Белого это уже не сова, а только гадкий нетопырь, но еще попрежнему бросает он мрачную тень своих крыльев на страну: «Вставал Петербург в волне облаков; и парили там здания, там, над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный... бил в сумасшедшем парении нетопыриными крыльями».

Именно эта линия в «Петербурге» заставила редактора кадетской «Русской Мысли» Петра Струве воспринять роман, как злую сатиру на царскую Россию, и вызвала его бешенство. Струве не только отказался печатать заказанный им роман в «Русской Мысли», но пытался убедить Белого вообще не печатать его. Об этом инциденте со Струве Белый вкратце упоминал в «Начале века» (стр. 326,

446—447, 772); в печатаемой главе он на этом останавливается гораздо подробнее. В новых подробностях о работе над «Петербургом» — ценность публикуемых глав.

Однако, и здесь Белый верен своей тенденции подчеркивать лишь одну сторону событий, важную для него в данный момент, на данном этапе его пути.

На ряду с критикой русской государственности, роман имеет другую, реакционную сторону: он отражает упадочническое неверие в силы революции. Если Блок в «Возмездии» приветствовал силы, противостоящие Победоносцеву, если в «Ямбах» он призывал новую революцию, то весь смысл «Петербурга» Андрея Белого заключался в том, что реакция и революция — лишь два выражения одной и той же силы — мирового нигилизма, два решения исконного «монгольского дела» — разрушения культуры. «Революционер» Николай Аполлонович — родной сын сенатора Аблеухова, оба они происходят от одного предка — монгола Аб-лай Ухова. Поэтому такую большую роль играют в романе провокаторы и агенты охранки, так тесно опутавшие буквально всех персонажей романа.

Роман «Петербург» (первоначально носивший название «Путники») должен был стать второй частью трилогии «Восток или Запад». Первую часть этой трилогии составлял роман «Серебряный голубь», где человек с «западной душой», Дарьяльский, шел в народ и попадал в лапы сектантов, в темный и душный мир «востока», который погубил его. В «Петербурге» изображается дальнейшее нашествие «востока» на устои культуры. Только-что закончилась русско-японская война; русские солдаты, набравшись в соприкосновении с Японией «монгольского духа», возвращаются в своих «манчжурских шапках» в Россию и начинают делать революцию, которая трактована в романе, как стихия сладострастного садизма. В ранней редакции революционер Дудкин получал предостерегающие письмо от некоего теософа; в письме говорилось: «Отряхни с себя сладострастную революционную дрожь, ибо она — ложь грядущего на нас восточного хаоса».

Такое понимание революции приводит Андрея Белого к учебе у Достоевского, и эволюция Белого от «Серебряного голубя» к «Петербургу» в смысле литературного влияния есть эволюция от Гоголя к Достоевскому. Само изображение Петербурга, как города-призрака, восходит к реакционному истолкованию, которое дал Достоевский фантастическому элементу в «Пиковой даме» Пушкина, а трактовка революционной среды в «Петербурге» сильно напоминает «Бесы» (это реакционное звучание «Петербурга» постепенно приглушалось в последующих редакциях, но его нельзя не заметить и в самом последнем издании).

Миру «восточного хаоса», на первый взгляд, противостоит в романе мир Запада: Петербург «европейских проспектов» и «Медного всадника», заведенная на века безжалостная государственная машина, знающая не человека, а только номера и циркуляры. Запад, следовательно, так же плох. Но впоследствии оказывается, что этот Запад — мнимый, что это то же самое «монгольское дело», оно тоже уничтожает культуру, только другим, более верным способом: не разрушая, а омертвляя ее.

Третью часть трилогии должна была составлять «Эпопея», которую Белому не удалось закончить, от которой остались лишь два тома «Записок чудака». Здесь Восток и Запад должны были быть представлены своими «положительными» элементами (Христос и Штейнер), Запад и Восток примирялись в антропософии. Если бы Андрей Белый успел продолжить печатаемые мемуары, он должен был бы коснуться как раз того периода своей жизни, который трактован в «Записках чудака» в совершенно мистическом плане. Об этой книге Белый говорил, что ненавидит ее, «как ненавидят воспоминание о минувшей болезни».

Как переосмыслил бы Белый эту часть своей биографии — сказать трудно. Во всяком случае, читая последние воспоминания Андрея Белого, не нужно забывать, что его мировоззрение было всегда полно блужданий и противоречий и плохо поддается позднейшей схематизации, к которой был склонен Белый в последние годы своей жизни.

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — вторая часть третьего тома воспоминаний; она охватывает восьмилетие (1910—1918), связанное с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впечатления бытия; с осени 1911 года я уже, ощущая Россию, как нечто, мне чуждое, ликвидирую связи с Москвой и оказываюсь за границей без осознания, что́ дальше делать; я пребываю в Брюсселе, где Ася оканчивает свои гравюрные классы у старика Данса, которого дочери замужем: одна — за коллекционером Сантом, представителем крупной бельгийской буржуазии; другая — за Жюлем Дэстрэ, социалистическим депутатом, близким другом известного Ван-дер-Вельде; Дансом и Жюлем Дэстрэ определяется и круг наших тогдашних брюссельских знакомств.

В Москве нам нет места; мои отношения с матерью натянуты из-за Аси; точкой нашей оседлости пока является село Боголюбы, Волынской губернии; возвращаясь из-за границы, мы живем у лесничего Кампиони, отчима Аси; к нему я постепенно и перевез часть моей библиотеки из Москвы, точно для того, чтобы она погибла во время войны в домике, разрушенном ядрами. С редактором «Мусагета», Метнером, я — уже на ножах; с членами рел.-фил. общества — тоже; не лучше обстоит дело и со «Свободной эстетикой», клубом бывших «Весов». С 12-го года и до конца 16-го я живу в Германии и Швейцарии; в последней обзавожусь обставленною квартиркою в маленьком домике около Базеля; из Швейцарии я уезжаю в Россию с мыслью вернуться обратно.

Так длится до октябрьского переворота, после которого лишь я по-новому неожиданно для себя врастаю в Москву.

Жизнь на Западе связана с интересом к истории; изучение быта народов Европы поднимает темы кризиса жизни, культуры, сознания, мысли — еще до Шпенглера. Осознание кризисов растет постепенно; цивилизация видится мне упадком культуры; в противовес ей я выдвигаю культуру арабов, увиденную романтически; я волю разрушения буржуазной культуры, отворачиваясь от нее; я увлекаюсь остатками патриархального, арабского быта, не видя, что корни последнего гнилы; под влиянием Аси я как бы закрываю глаза свои арабскою феской, сев спиною к Европе на пестренький кайруанский ковер, отделяющий меня от суровой действительности; позднейшая жизнь в Германии и Швейцарии меня исцеляет от слепоты; и я начинаю видеть неизбежность социального кризиса.

Отказ от войны и пассивного сопротивления ей в 1916 году невольно сдвигает меня к позиции Циммервальда.

Восьмилетие 1910—1918 стало мне поворотным, отрезав от современного Запада так, как Запад некогда отрезал от русского быта; восьмилетие это в значительной мере окрашено вкусами Аси: ее ненавистью к мещанству и нежеланием видеть действительность, которую она окрашивает в пестрые мороки субъективнейших парадоксов; поздней открывается мне: таким мороком некогда промаячили нам: и Венеция, и Сицилия, и Тунисия, и Египет, и Палестина; Ася переживала ярко средневековье и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко; ей был чужд ренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее.

Итальянские впечатления даны в первом томе «Путевых заметок» * (второй том не вышел) красочными мазками; и только; под ними таилось разочарование в некогда воображенной Италии: итальянец увиделся мне непевучим, тяжелым; сам «сладкий» его язык прозвучал гортанным криком «По́ко манджа́ре!» (немного покушать); грузная, старообразая женщина, вешающая на веревках синие и лимонные тряпки, оскорбляла мои предста-

* Изд. «Геликон», Берлин, 1922.

вления об итальянке; не весело выглядел и деревенский бедняк; итальянцы же, пялящие на себя в городах котелки, сидели со мной в ресторанах; они учили меня:

«На что нам реликвии старины, на которые глазеют туристы: Италия — страна с будущим».

Так кричал присяжный поверенный, ехавший со мной из Флоренции в Рим; он цитировал Джиованни Папини: всю ночь напролет; он был футуристом.

Вскоре в Палермо мне духом фашизма повеяло от тяжелой губастой, дымящей сигарой фигуры, напялившей на себя английскую шляпу и вообразившей себя сицилийскою интеллигенцией.

В «Путевых заметках» описано: холода из Сицилии нас гонят в Тунис; теперь вижу, что гнал нас не холод; гнало восприятие современной Италии; что в Берлине и в Вене казалось естественным мне, то в Италии бросилось бредом; и переезд в Тунис был бегством из буржуазного настоящего в патриархальное прошлое.

Палермо — пятна пути; и кроме того: выработка ритма отношений с Асей; здесь начало выясняться: стиль отношений с ней есть взволнованность уговора схватиться за руки, чтобы бежать из Москвы, странствуя по истории и культурам; московские культуртрегеры на все наложили свои ходячие штампы; путешествие было предлогом: остаться одним на морском бережку, иль с вершины горы, в одиночестве думать, вбирая ландшафты сознанья; в Москве — не до этого; и кроме того: материал пережитого давно подавлял, взывая к переоценке всех ценностей; Ася стала мне символом этой переоценки; не спроста сближение с ней начиналось рассказом ей о предшествующих годах; и рассказ стал отчетом; происходил же он в фантастической обстановке; и именно: на дереве: на него мы взлезали: сперва — в Звенигороде, под Москвой, потом — в Боголюбах, под Луцком.

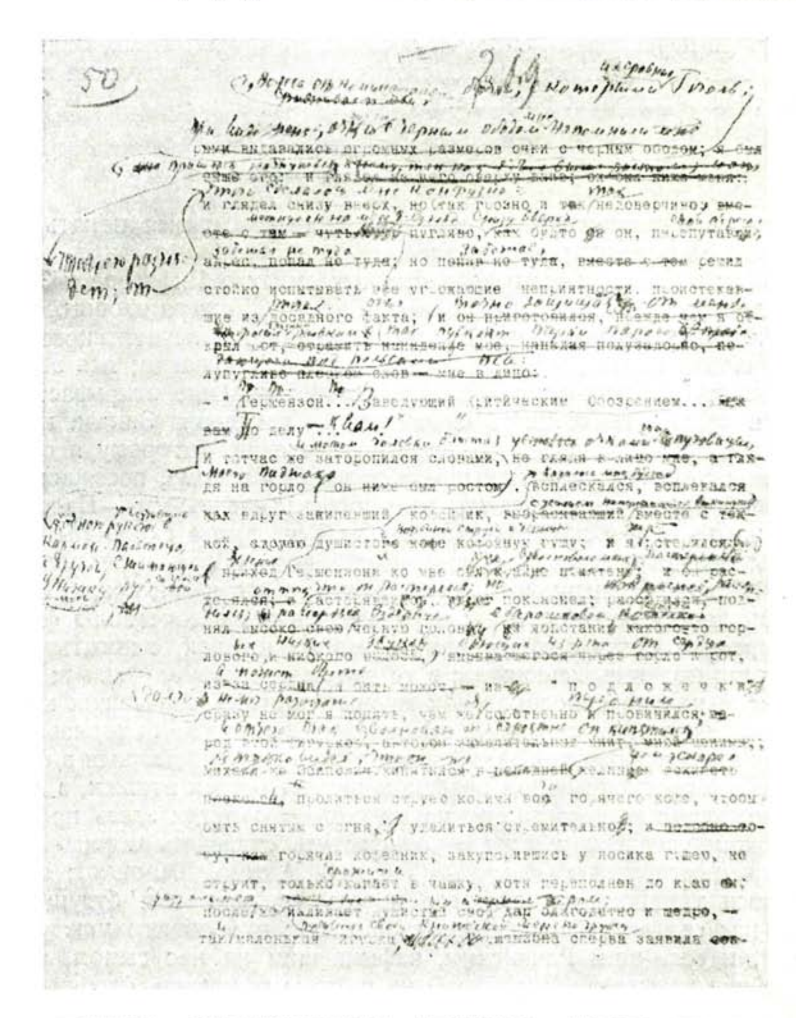
Сицилия стала нам продолженьем рассказа; и рассказ этот длился беспеременно; смена же путевых впечатлений соответствовала все время этапам наших переживаний; когда исчерпались впечатления, то кончились дни наших странствий; мы осели в Швейцарии; и попытались здесь вытворить быт по образу и подобию нашему.

Запомнилось, как, высадившись на горбатый берег Палермо, мы сели в голубую маленькую каретку, вспоминая только-что покинутый Неаполитанский залив с дымящим Везувием; седоусый, маленький старичок, в голубом кэпи, повез нас в «Hôtel des palmes» по солнечным уличкам; над домами и пятнами моря мелькала горбатая гора святой Розалии красными своими боками; мы подъехали к домику, тонущему в собственных верандах и в зарослях сикомор; щурились жалюзи окон; второй старичок в голубом к нам вышел из двери подъезда; и, взяв наши вещи, повел нас к мосье, ожидавшему на одной из веранд; мосье был седоусый, в белом жилете и в дымчатой паре; пожав руку нам и узнав, что писатель я, назвался энтомологом, мосье Рагуза, другом покойного Мопассана и собеседником... Рихарда Вагнера, здесь обитавшего некогда более полугода и здесь же окончившего «Парсифаля»; никто не сказал бы, что этот достойный мосье из нас выжмет в неделю все деньги; он показал две прелестные комнатки, в открытые окна которых ломилась зеленая гуща, мерцая солнцем; бросив здесь багажи и нырнувши в зелени садика с клетками цокавших на нас мартышек, мы растерялися от цветочного аромата и выблесков декабрьской весны (был декабрь); гонг нас вызвал в столовую; дамы были прелестны, а кавалеры жонглировали всевозможными позами, меня повергая в конфуз, увеличившийся от толпы изощренных бездельников, юных красавцев: крахмальных лакеев; они позднєй рисовали орнаменты на сквозных коридорах отеля и придирались к ничтожному случаю: получить с нас на чай; сумма чаев росла быстро от при-

соединения: прачек, горничных, судомоек, чистильщиков брюк и чистильщиков сапог; нагрузка была не по средствам: бюджет, ассигнованный мне на месяц, был съеден в неделю этими трутнями; мосье же Рагуза простер свои попечения над моей кассою до того, что предложил мне держать ее у себя:

— «Вас могут ограбить!»

Все то — вперемешку с веселыми анекдотами о «mon amie Maupassant» и о «ce monsieur Wagnér», которого комнаты до сих пор излучали запахи всевозможных эссенций, здесь веявших со времени Вагнера (вероятно Рагуза



СТРАНИЦА МАШИНОПИСНЫХ МЕМУАРОВ АНДРЕЯ БЕЛОГО «НАЧАЛО ВЕКА» (РЕДАКЦИЯ 1923 г.) С АВТОРСКОЙ ПРАВКОЙ 1932 г.

Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

систематически поддушивал комнаты для туристов): на Мопассане и Вагнере он спекулировал.

У меня возникла тревожная переписка с издательством «Мусагет»; я требовал высылки дополнительной суммы.

И вот: перепуганные дороговизной Палермо, мы бросили наш отель с «энтомологом», переехавши в Монреаль, городок, обрывавшийся утесами к апельсинникам долины Оретто, где некогда бились слоны Ганнибала с когортами римлян.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

АФРИКА

РАДЕС

Сицилия — место моего сближения с Асей; помнятся лишь моменты его; душная, декабрьская ночь; Ася протянута из окошка в теплые порывы ветра; за лапами расхлестанной зелени — вспыхи молнии; локон Аси взлетает; я — рядом: в окне; мы слушаем поступь будущего; или: у бледнолазурного моря пересыпаем мы белый песочек, между ладонями, севши на плед и весело болтая о пустяках; но болтовня лишь форма молчания в себя впервые вперенных, себя сознающих впервые:

Я понять тебя хочу:
Темный твой язык учу.

Или: мы в развалинах церковки Martorana силимся понять орнамент колонн, утопая в цветах; вьется шмель.

Словом: в Сицилии мы в непрестанных думах о Пифагоре и Эмпедокле, о Сицилии римлян и карфагенян, Сицилии арабов, Рожера второго, Фридриха второго Гогенштауфена, Сицилии эпохи барокко, отпечатленного в виллах Багерии; встает образ Джузеппе Бальзамо, иль Калиостро; Ася эстетически воспринимает образы эти; я — познавательно; она мне открывает глаза на краски; я силюсь ей открыть смысл взаимоотношения Запада и Востока; впервые в Сицилии намечается новый круг чтения, которому я отдаюсь на протяжении ряда лет; если позднее я зарывался в тома, посвященные средним векам и культуре ренессанса, то импульс к чтению их — Палермо, Монреаль и жизнь в арабской деревне, около Туниса, где скоро мы оказались.

Пиры познания ждали нас в Монреальском соборе, чуде мозаики, служившем Рихарду Вагнеру мотивом Сальвата; здесь в дни рождества удивлялись роскошеству богослужений; и удивлялись здесь сочетанию фиолетовых и ярко красных сутан с горожанами в рваных плащах, с носатыми лицами, спрятанными под тень капюшона; в те дни запахнулся ландшафт; из тумана заклинькали колокола колоколенок множества здесь торчавших капелл; линия снегов опускалась: с суровых высот до крыши над нами торчавшего дома.

Мы, не выдержав холодов, убежали в Тунисию; и застряли в селе Радес, оказавшися в плоскокрышном арабском домике о трех этажах, в комнатушках, пестреющих изразцами; но наш разговор о путях здесь продолжился; созерцающим удивлением были исполнены мы, отдаваясь чтению краеведческих книг, посвященных Магребу (Тунисия, Алжир, Марокко); все прочее заволоклося туманом, из которого порою грозило нам будущее в виде Москвы, нас съедающей; Ася боялась Москвы: что́ общего между ней, еще девочкой, и седейшим Рачинским, зафыкавшим на нас дымом, иль парой, которую она называла «Булдяевы», не имеючи различить особей пары. Она волила новой жизни, ужасаясь «косматому» быту тогдашней Москвы.

Нас тянуло в Бассору, в Багдад, а ожидал нас зеленый стол, заседания, окурки в массивных пепельницах. Я проводил бессонные ночи над измышлением способов осуществить наш побег из Москвы. И даже: делился по этому поводу мыслями... с Метнером, ответившим мне откровенным негодованьем. Тогда я, подставив спину Европе, умопостигаемо увидел Сахару, нас звавшую.

Как великолепен Радес, когда солнце склоняется. Он — под ногами; блещут чуть розовые на заре, а днем белоснежные кубы домов и башенок; через белые стены заборов бьет пурпур цветов в пустую кривую уличку; вон справа — шелест серебряной чащи оливок; вдали — розоватый пух расцветающих миндалей, за которыми — распростерший объятия с востока на за-

пад Тунисский залив, выбегающий Карфагенским мысом; я только-что перечитал здесь «Саламбо» Флобера; и знал: две горы, что смыкались справа и лиловели, — место приношения человеческих жертв; они — образуют ущелье, в котором Гамилькар Барка некогда отбивался от Сципиона, защищая город; Радес — переименованное арабами римское местечко «per-rates» («посредством весел»): отсюда переправлялись на лодках в Карфаген; позади нас горы Захуана с остатками римского водопровода; они еще багрянеют; а над Радесом — легколиловые сумерки. На сухую землю мы бросили плед, на котором сидит Ася — в цветных шелках, зарисовывая ствол каменного дуба, равного пяти стволам; сбоку берберы в полосатых, серокоричневочерных плащах с остроконечными капюшонами — гонят стадо; скачет синий уджакский всадник; вот уже мы спускаемся в узенькой, пустой уличке, выводящей на площадь, где — два кафе: прямо против нашего домика; берберы в голубых, розовых, белых широкорукавных хитонах, в красных кожаных туфлях, в чечьях (род круглых фесок), обмотанных белоснежною кисеей, уселись на цыновках в картинных позах; а кисти цветов свисают у них из-за ушей на лоб; иные в белейших плащах; иные курят; иные играют в шашки; медленно плывет мимо Али-Джалюли в бирюзовой тоге, с посохом в руке; а накинутый белый плащ развивается лепесточками складок; с поклоном прикладывает он руку к груди и потом бросает ее в нашу сторону.

Али-Джалюли — сама история Тунисии; едва ли не министр в эпоху господства беев до оккупации Тунисии составляет он заговор на жизнь бея; но заговор открыт; он бежит; и возвращается лишь после оккупации нищим; богатства его конфискованы туземною властью; теперешний бей имеет при себе кукольных, туземных министров; среди них министр финансов — брат Али.

В Радесе есть вилла с райским садом, с клетками газелей. Я спрашиваю: «Чья вилла?» — «Джалюли», — отвечают мне. «Чьи эти рощи?» — «Джалюли!» — отвечают мне. Но Джалюли умер только-что; в дни, когда я поселился в Радесе, роскошества эти переходят к нищему арабу, знакомцу нашему; седобородый профиль его полюбился нам; и он благосклонно поглядывает на нас; он шлет нам селям; он Асю зовет в гости к дочери. Он обещает нам покровительство свое до самого Тимбукту, если бы мы захотели кануть в пустыни; наш выбор падает на Египет; письма, обещанные нам Али-Джалюли, пока-что не нужны; но Туат, прилегающий к Тунисии с юга, — ближайшее будущее.

Так мы решаем.

Вечера становятся уже знойными; как завлекательны звуки там-тама из той вон кофеенки, которая — под ногами (на крыше мы); там арабы слушают захожего сказочника; март бьет каскадом цветов; в окрестных рощах забелела палатка кочевника; верблюд рядом с ней жует траву; сельские берберы запирают двери домов: пойдет теперь воровство; палатка кочевника, припертого к побережьям Средиземного моря, есть знак того, что уже недалеко от нас все выжжено; приближается знойное, всеопаляющее тунисское лето; и уже подувает сирокко на нас; скоро злей закусаются скорпионы; фалангу недавно я расщемил на стене.

КАЙРУАН

Сумеречит; мы на крыше; кругом — толстостенные кубы и белые башни, холмы; белый купол мечети — на фоне темнеющего, синечерного моря; крыша справа окаймлена перилами, над которыми подымается бербер в своем красноватом плаще; он поет, сев на тигровый плед, косо брошенный на перила; ему откликаются бубны и смехи; на полосатых цыновках, скрестив свои ноги, уселися жены в шелках, в широчайших штанах, ярких, пестрых, конических шапочках; но они нам не видны; таков гарем бербера-богача.

В ночных бдениях вызрел наш замысел: посетить Кайруан, первую цитадель арабов-завоевателей, появившихся здесь в 8 веке, когда Сиди-Агба водрузил впервые здесь знамя пророка; страны Магреба (Западной Африки) обуревались еще ересями; но кайруанская династия аглебитов боролась за правую догму; тогда сковывалось в Кайруане новое единство: Магреб, в состав которого вошли страны Марокко, Алжира, Тунисии; скоро Магреб поднялся на Египет; и стал потрясать распадавшийся халифат; африканская «Мекка» блистала мечетями, которых школы выпустили кадр ученых, поэтов и проповедников; в книгохранилище Кайруана, еще недоступном для нас, сохранилась доныне рукопись стихов кайруанской принцессы, писанная золотыми чернилами; кайруанская династия фатимидов, внедрясь в Египет, перелицовывает селение Эль-Кахеру в отныне мощный Каир; восточный Магреб (Тунисия) преобразует арабский Восток; в западном слагаются великолепия мавританского стиля, давшего блеск Испании; лишь на короткое время приподнят Тунис; но Кайруан доминирует; он видит послов великого Карла, дружившего с аглебитами.

В ветреный день мы садимся на поезд, пересекающий радесскую низменность по направлению к приморскому городу Сузам; прошмыгнув под ущельем двугорбой горы, мы подверглись атакам свирепого ветра, опрокинувшего на нас тучи бурых песков; замелькали песчаные лысины, перерождая ландшафт в преддверье пустыни; пересевши на кайруанскую ветку, дивился я натиску ветра, двигавшего на остановках наш поезд: назад. Перед Кайруаном пропали и чахлые зелени; бурочерные вои песков мчались бешено с юга на север, скрыв дали и небо; и кто-то сказал: «Здесь три года уже не видали дождя: чуть покапает; и — снова засуха».

Но — что это?

В мороке проступили какие-то белесоватые, покатые плоскости рябоватой пустыни, казавшейся воздухом; в нем выявились призраки буро-бледных, белеющих и наконец вовсе белых — зубцов, куполов, минаретиков, взвеянных, как кисейное кружево, меж землею и небом.

Поезд подъехал вплоть к городской стене; выйдя, увязли ногами в белой, зыбучей массе; здесь увидали кучку арабов в бьющихся от бури бурнусах, стадо верблюдов, издали проходящих в ворота, да несколько домиков за пределами города: казарму, гостиницу для приезжих (главным образом англичан) да подобие муниципалитета. То — единственный след цивилизации, сжатой в точку и выброшенной за городскую черту; город без пригорода сел, как наш Кремль, меж четырех толстых стен, отгородивших от немоты пустынь гортанный говор тысячей бьющихся друг о друга бурнусов и синих негритянских плащей, хлынувших в Кайруан от зеленых раздолий Судана; Кайруан глядит в сторону Тимбукту; Европе же он подставляет спину.

Оказавшись в отеле с десятью посетителями (англичанами), мы испытали чувство, будто несколько часов, отделивших нас от Радеса, развернули нам расстояние, равное расстоянию от земли до... луны.

И «лунный житель» по прозвищу «Мужество», втершись в доверие к нам, оказался с нами; это был араб, проводник; и он нам предлагал не терять времени: дернуть с ним за границы Тунисии; посетив Габес и Гафсу, здесь запасшись палаткой, верблюдами, ничего-де не стоит нырнуть с ним в пустыню.

Тотчас же после обеда, перебежав песчаную площадь, отделявшую от городских ворот, мы с «Мужеством» оказались в лабиринте ульченок, то опускающихся, то взлетавших; с холма любовались пространством кварталов, слагающих белые плоскости крыш неправильной формы; так строились первые этажи со встававшими на них кубами вторых этажей и с белыми башнями третьих; отовсюду гнулись сегменты куполов; полукруга не видели мы; эти сегменты складывались из белых ребер, сбежавшихся к центру

и севших на кольца, под которыми на цилиндрическом основании виделись овалы окон. Плоскости крыш открывались в улицы ямами пестрых лавчонок (без окон), подпертых колонками: десять тысяч колонок перетащили арабы сюда из развалин римского города, полузасыпанного пустыней; в мечети Огбы их более тысячи; всюду встали подобия триумфальных арок, расписанных чернобелым орнаментом (вместо цветных изразцов кружевных стен Туниса).

Толпа не блистала здесь пестрью гондур, золотом жилетов и белыми атласами мавританских тюрбанов, напоминающих митры; поразило отсутствие зелени: ни садов, ни аллеек, ни легких бассейнов; грозная белизна на буром песке! Взвизгнет ветер, — и все взлетает под небо: нет города! Только бурое облако, из которого медленно, немо крепнут очерки башен и стен: здесь жизнь жутка!

Пометавшись по уличкам, мы до утра простилися с «Мужеством» и замкнулись в своей комнатушке, прислушиваясь к шакальему плачу ветров; в окна глядели зубчатые стены и башни, которые стали розовые на багровой заре; на стене, под узорчатым бастионом появились женщины в черном, неся на плечах кувшины; они шли — из сумерок; в сумерки.

Изо всех городских ворот Кайруана — открывается бледная сушь горбатосклонных песков, прочерченных ветром: безнадежность, робость и страх! Пески полны блохами, скорпионами и ядовитыми кобрами; ни кустика, ни травинки! После дождей пробивается всюду зеленый покров; дождей не было уж три года; и — зелень сгинула; и над корнями злаков — бугры, брошенные Сахарой, которая крадется отовсюду, перегрызая связи со всем тебе знакомым и милым; Сахара ухает бытами тебе незнаемой жизни.

Через день или два мы с «Мужеством» посетили орошаемый участок пустыни и утонули в розовом дыме персиковых и миндальных цветов; куполки Марабу * кое-где пропузатились из-за склонов; запомнилась мне одна усыпальница марабу, покрытая жутким орнаментом из переплетенных черных пантер.

В Кайруане столетиями формировалися школы дервишей; проходившие их получали звание «ассауйи», более почетное, нежели звание «дервиша»; кроме умения поедать пауков, наносить себе раны, вертеться в экстазе и заклинать змей, «ассауйи»-де научились и высшим дарам; Кайруан переполнен фокусниками, гадателями, заклинателями и прочими шарлатанами; начитавшись книг о мусульманском иогизме, я попросил «Мужество» познакомить нас с дервишем-ассауйей.

— «Знаю, что вам надо; есть тут один ассауйя; коль я отыщу его, вечером он вам покажет своих очарованных кобр; англичане не интересуются «ассауйями»; им довольно и фокусников».

— «Итак, завтра вечером?»

— «Ждите меня к десяти».

. . . .

На другой день вечером, когда в небе открылись огромные звезды, каких я не видел нигде, постучали; и «Мужество», болтая кистью цветов, заткнутой им за ухо, шмыгнул к нам:

— «Ну — есть ассауйя!.. Согласен».

— «За сколько же?»

— «Вы внесете в кафе по тарифу; он платы себе не возьмет: он — из чести!»

Мы вышли в холодную ночь; пробежав под воротами, мы заюлили в уль-

* Марабу — наименование юродивых-святых, в честь которых мусульмане воздвигают каменные усыпальницы, увенчанные куполами, с изощренными резными дверями.

ченках, едва озаряемых огоньками арабских кафе, из которых неслись глухо страстные звуки там-тама, слагавшие полные смысла мелодии; вспомнились слова Тютчева:

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?

Сверт: «Мужество» рванул дверь, и мы оказалися в переполненном бурнусами пестром пространстве, покрытом кажущимися золотыми цыновками, на которых, склоняясь, лежа и полусидя, арабы гнулись над шашками; протолкалися мы на помост к арабам, вооруженным местными инструментами; приволокли европейский столик, два стула: для нас. «Мужество» мне шепнул, скосив в сторону глаз:

— «Вот он!»

И я увидел в углу высокую тонкую фигуру араба в белой повязке, изощренно склоненного над доской; ему в спину «Мужество» что-то гортанно отбарабанил; не разгибаясь, араб повернулся на нас, чуть прищурясь, не удостаивая разгляда; лицо его поразило; оно поздней мне напомнило лицо фараона, Рамзеса II, но расплавленное экстазом, который я видел в иные моменты у Никиша, дирижировавшего симфонией; и я подумал: так видно выглядели гиерофанты Египта; и так вероятно бы выглядел Эмпедокл, склоненный над кратером Этны, пред тем как низвергнуться в кратер, осуществляя заветную мысль: соединиться с огнем.

Араб вскочил и, не глядя на нас, сбросив с себя повязку, легким прыжком взлетел на помост; черная прядь выстриженной головы разбросалась с макушки змейками на плечо ему; развязав, он бросил перед собою мешок, закачавшись над ним и являя каждым движеньем—чудо ритма и сдержанности; тогда из мешка поползла кобра, которую-де он сегодня поймал лишь.

Не стану описывать «фокусов» с ней; она бешено бегала по помосту, задевши меня своим скользким хвостом; и вдруг бросилась в сторону на склоненного бербера; с молниеносною быстротою и силою палец дервиша упал на кончик ее хвоста; и скачок ее был оборван пятою: змея ритмически закачалась теперь, поднимая на бербера раздутую и листовидную шею.

Выходя из кафе, мы с Асей сказали друг другу:

— «Лица того бербера мы никогда не забудем».

. . . .

Не стану описывать всех впечатлений от бытовых мелочей, которые мне бросались в глаза в Кайруане; не останавливаюсь и на восторге перед орнаментом и чистотою отделки кайруанских ковров.

Лишь скажу: Кайруан — новый повод к чтению мне ряда книг, посвященных культуре и быту арабов; этому чтению уж поздней отдавался годами я.

АРАБЫ

К половине седьмого века остатки западной римской империи в Европе представляли собою ничто. В это время слагалася вне Европы громада, подобная древнему Вавилонскому царству, распавшемуся ровно за семь столетий до новой эры. До рождения Магомета Аравия представляла собою пестрые смеси из иудейских и древне-сабеитской культур; среди обитателей Мекки мы видим утонченных культуртрегеров, принадлежащих к племени корейшитов. Араб-горожанин в седле сопровождал араба-воина; он забирал тотчас же в покоренной стране в свои руки строительство культуры и государственности: так в покоряемой Сирии взятые города, процветавшие до арабов, всячески сохранялись арабами, как, например, Дамаск, ставший первой столицей калифов; здесь древний храм (языческий, потом христианский) стал пышной мечетью; Иоанн Дамаскин, христианский певец, стал — учите-

лем геометрии и важным чиновником при дворе Абдумелека (684—705). Население побежденных стран давало контингент чиновников. Арабский язык не сразу начал господствовать; в византийских провинциях циркулировали долго еще византийские деньги; успех арабов-завоевателей в том, что они поддерживали мелких землевладельцев, развивали промышленность и технику мореплавания; арабы быстро ликвидировали парсизм, ассимилировавши его культуру; учась поэзии персов, выявили они новый синтез поэзии (Фирдуси и т. д.).

Из усвоения и переработки греческой и древне-персидской письменности в Багдаде выявился новый синтез культур; сирийские переводчики переводят на арабский с пехлевийского, санскритского и с греческого; в попытке соединения индийской и греческой математики рождается арабская алгебра; вокруг Гарун-аль-Рашида собирается кружок философов, ученых, поэтов; астроном, калиф аль-Маммун, следует культурной политике Гарун-аль-Рашида; он лично заинтересован в том, чтобы иметь перевод Эвклида; в арабском Палермо, в арабской Испании, арабской Индии, позднее в негрском Тимбукту — та же картина; в VIII веке на новых дрожжах всходит поэзия периода до исламского в ряде новых омейидских поэтов: калифа Валида II, бедуина Джамиля, которого звали «Рыцарь дамы Бютейны», классика-сатирика Джамиля, вольнодумца Иезида, острого осмеятеля Корана, мекканца, дамского угодника Омара Рабиа, поэта композитора Ибн-Айаса; духом Заратустры веет от арабской поэзии VIII века; в IX же веке слагаются «странствование моряка Синдбада» и коллекция сказок «Тысяча и одной ночи».

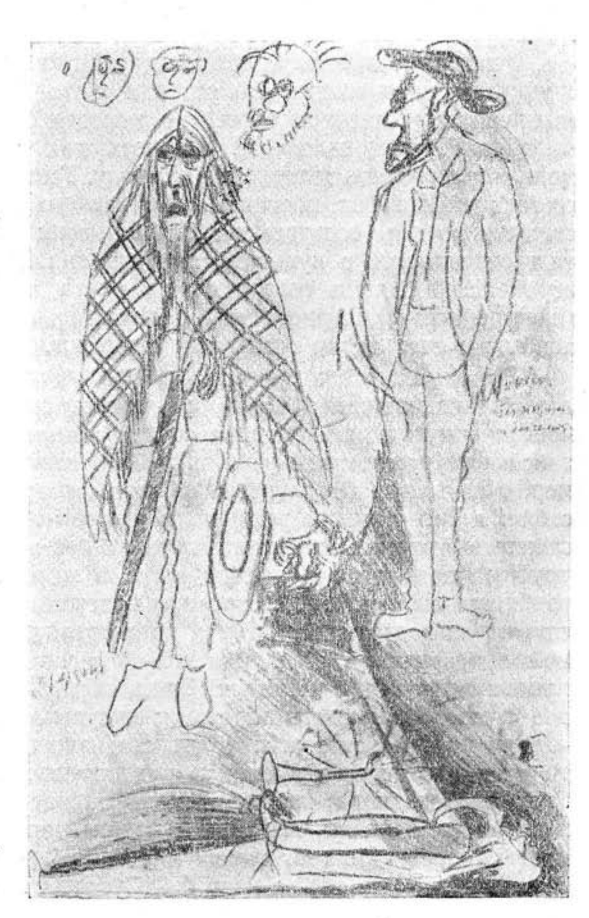


РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО К РОМАНУ «МОСКОВСКИЙ ЧУДАК», 1925 г.
Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

Эпоха Абдурахмана и Хакема II в Испании продолжает такие взрывы культурных стремлений; кордовская академия насчитывает не менее 400 тысяч томов; кордовский университет завоевывает себе громкую славу; вводится всеобщая грамотность; Толедо, Валенсия, Малага становятся культурными центрами; то же в Сицилии; арабские поэты сравнивают Палермо с красавицей в ожерелье из сарацинских замков, составивших над городом амфитеатр.

Арабы работают в области филологии, истории, математики; Аль-Хваризми открывает принцип логарифмирования; сочинения Аль-Батани «De motum» и «De stellarum» еще живо двигают мысль Региомонтана; астроном Абудь-Ваффа Магомет предвосхищает мысли Тихо-де-Браге; арабами переводятся Аристотель, Эвклид, Птоломей, Гиппократ, Гален, для того, чтобы позднее их возвратить Европе; к XI веку арабская культура зажигает светом своим и далекую Бухару; здесь гремят сочинения философа-медика Авицены, давшего энциклопедию под названием «Книга исцелений».

Рост арабской культуры невероятен: по развиваемым темпам; краски культуры изысканны; она переваривает ей предшествующую культуру Александрии, Персии, Индии, потому что она проводит прогрессивный по тому времени и рациональный замысел: дать исход свободе развития племенных и бытовых различий внутри единого государства, что осуществлено в автономиях, сумма которых образует сунны (четыре мусульманских обряда: западно-африканский, египетский, багдадский и индостанский). Такая «свобода» вызывает массовый переход в мусульманство среди покоренных народностей; умение ввести религию в практику быта дает арабизму устойчивость и комфортабельность.

Вспомним: в эпоху, предшествующую мусульманству, мы имеем дело с уничтожением последнего остатка когда-то бывшего эллинского свободомыслия и с угашением памяти о некогда бывшем республиканском строе; всюду в Европе, являющей ряд деспотий, деспотии эти вырваризируются; мрак и жестокость господствуют всюду. Умело расчетливая политика партии, слагающей калифат, состоит в том, что она силится проводить принцип просвещенного для того времени абсолютизма; из Византии изгнанный Аристотель всасывается в культуру арабов; но как скоро экономические условия европейской жизни созревают до роста потребностей третьего сословия (пред-ренессанс), Аристотель с науками всасываются обратно в Европу; арабы же становятся толкачами монголов.

Вырождающийся рационализм изживает себя в иронии, в юморе, в скепсисе, в анекдоте; и юмором, скепсисом, анекдотиком переполнено позднее предание мусульман; анекдот порою порхает по стенам кайруанских мечетей; и фигурируют всюду прихоти юродивого марабу; легенды гласят, например, о юродивом брадобрее и о принадлежностях его ремесла; а вот мечеть сабли: в ней святыми реликвиями становятся гигантская сабля и полутора-саженная трубка, которую выкуривал без задоха почтенный святой; за ним трубку всюду таскал рослый негр; в мечети Окбы показывают каменные гробницы собаки, верблюда, принадлежавших Окбе; в одной из мечетей служители подводили к столбу, предлагая прошмыгивать меж столбом и стеной, прибавляя при этом, что мне-то легко прошмыгнуть; а вот толстому — каково этим делом заняться! Здесь обряд — каламбурен; весельчакам лишь под стать каламбурить обрядами; мусульманство отчасти столкнулось с началами христианства, как хохот с отчаянным плачем; мусульманство когда-то вдохнуло веселье и смех в ряд народов, обитавших на южных берегах Средиземного моря; народы же, заселявшие его север, жили образами тяжелого бреда; вандалы, лангобарды, гунны, норманны столетия проливали здесь кровь; в тысячном году ждали мирового конца; тысячный год прошел, а нищая Европа — осталась; надо было устроиться на земле; и папский престол

создал легенду о тысячелетнем земном царстве и о государстве-храме; папы организуют нищих бродяг в монашеские ордена и в нищее рыцарство, выкидывая этой чандале лозунги завоевания Иерусалима и подменяя храм пустым мрачным гробом; двухсотлетний период крестовых походов отдает папам власть. Но результат — знакомство с Востоком и с укрываемым в нем Аристотелем; все, когда-то вытолкнутое из Европы, в нее возвращается с возвращеньем в Европу нищего рыцарства; перерождается трубадур, нищий рыцарь, — в искателя приключений; столетьем позднее он уже гуманист, чтобы некогда стать либералом; политическая революция столетия вызревала из революции быта. К XII столетию в Европу врывается Аристотель, распространяемый в переводах; переводчики Аделяр из Баты, Роберт из Ретины и прочие изучают Платона, Аристотеля и мудрость арабов; архиепископ Раймонд в Толедо образует коллегию переводчиков (1130—1150); Иоанн Севильский здесь перевел Аристотеля, в конце 12-го века проникшего в Париж и восстановившего интерес к физике (Давид из Динана); между Востоком и Западом начинается обмен идей, рождавших новые вкусы, подхваченные в Сицилии, ставшей в то время преддверием к ренессансу.

Такие мысли в предощущении впервые мелькнули мне в Африке, когда я прослеживал проблему отношенья между Западом и Востоком.

ТУНИСИЯ И ФРАНЦУЗЫ

В последние недели нашего пребывания в Радесе весьма участились поездки в Тунис и посещения древнего Карфагена; помню здесь наш восторг пред камеями финикийской работы; и помню сидение в пестрой, блещущей изразцами деревне, по имени Сиди-Бу-Саид, приподнятой на утесистый Карфагенский мыс; с трех сторон в него хлопали разъяренные волны; Сиди-Бу-Саид — место паломничества; деревушка носила название чтимого марабу; но в легенду о нем был вплетен каламбур: с переодеваньем; Сиди-Бу-Саид есть согласно легенде Людовик святой, здесь скончавшийся от чумы, по словам христиан; это — ложь, сочиняемая «неверными» (христианами); дело в том, что Людовик пришел к мусульманству под действием проповеди и тайно покинул вооруженный свой лагерь; неверные вместо него похоронили простого солдата *.

Эти дни мне связаны и с Бельведером, парком, разведенным французами около города; здесь запомнился павильон, опирающийся на ряд белых колонночек и разблещенный изразцами; от него море зелени падает к белоснежным арабским кварталам Туниса; за ним — лиловатый мыс, голубое пятно залива; зелень дорожек, усыпанных красным песком, упадает к белым кубам арабских домиков; на дорожках же кучкой, бывало, несутся арабские женщины, отвейвая плещущий снег одежд и показывая черные лицевые пятна (лица их закутаны шелком).

Последний месяц жизни в Радесе все грезилось о будущих путешествиях наших в Туат; и—далее; Сахара, Судан и Гвинея—не спроста влекли; ведь Фробениус скоро потом начал связывать с Атлантидой раскопки свои, здесь веденные; живя тут, я почитывал историю этих мест; мне открылись усилия Франции завоевать Судан и Нигерию; конец века прошел здесь в боях: мне открылись образы завоеванья Канкана и Диенеи; я не раз удивлялся здешнему черному Наполеону, так недавно еще с беззаветною храбростью и уменьем отражавшему много лет натиск французов и научившему негров лить пушки; я много читал о культуре старого Тимбукту и о царстве сонгойцев, столетия сохранявших культуру Египта и стилем здесь найденных

* Людовик святой, предприняв Крестовый поход, высадился с войском в Карфагене и умер от моровой язвы, свирепствовавшей в Тунисии.

зданий, и культом богини Гатор; французы-колонизаторы воспитывали детей корольков во французских школах и превращали их в местных чиновников, посредством которых они управляли туземцами; мысли по этому поводу мной изложены во втором томе «Путевых заметок», не появившемся в свет; вот что́ писал я в главке «Двадцать две Франции»: «Вы не знаете Франции: европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке... Никогда не пришло вам на ум точно вымерять Францию; вымерял я: отношение ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара... равняется дроби: $^1/_{22}$... Я боюсь — будет час: кровь с огромною силой прильет к голове организма французской Европы — кровь черная; миллионами негров мулатов вдруг хлынет она в Париж...»

Я зачитывался сведениями о формованье в Нигерии негрских полков и о передвижении на север их; в 1912 году я писал: «В будущей европейской войне негритянская армия будет оплотом французов» (II т. «Пут. зам.» — «Двадцать две Франции»).

Не так ли случилось? Негры вскоре же оккупировали Рур; высаживались они и в Одессе.

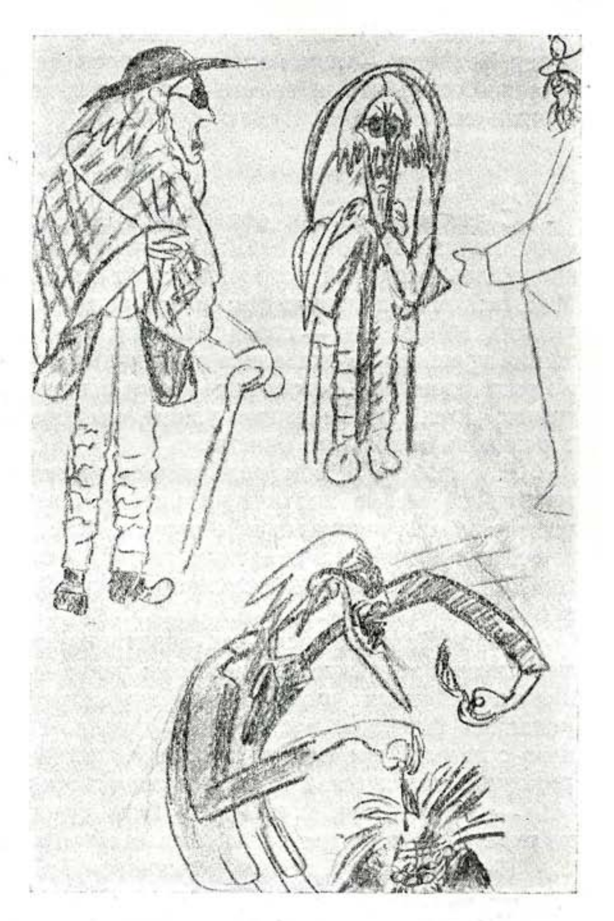
Открывалась мне здесь и сущность французского буржуа: перерождаться в колониях в паразита; я его наблюдал, как он мусорит местный быт отбросами своего быта, уместного, может, в Европе, но здесь отвратительного; колонизатор предстал мне в Африке, как гнилостная бактерия; я в Тунисии инстинктивно стал отталкиваться от большинства европейцев; поговорите-ка с сизоносым французиком в котелке, здесь ненужном; с какой дикой злобою он, обливаяся потом, шипит на арабов из-за своих огороженных тыкв с надписью «Traget interdit»; меж «Traget interdit» и меж «j'ai mangé mon gigot» протекает его вредоносная жизнь; тощеньким комаришком является он выпивать кровь туземцев; и как ненавидит он их! Как позорит! Они-де грязны, и о́ни-де погибнут от сифилиса. Чем он им помогает? Тем разве, что им продает он ликер «Anisette», отравляющий их; или он прививает безвкусицу им ввозимыми из Европы дешевыми ситцами; разорение, пьянство, разврат разъедают жизнь берберов; все идет от французов; арабы Тунисии платят им ненавистью; характерен ответ одного из проводников, впивавшегося в нас в Тунисии и три часа водившего нас показывать то, что мы и без него знали; когда он высосал из нас все, что мог, и разговор перешел на тему об отношении арабов к французам, то на мой вопрос, «как относитесь вы к французам?», он с усмешкою мне ответил: «Да приблизительно так же, как вы относитесь к докучливым и вам ненужным проводникам!». Ответ был классичен.

В ответ на вторженье французов арабы-интеллигенты, издававшие в Тунисе несколько оппозиционных газет, подчеркивали национальную пестроту костюма; я не видел арабов-интеллигентов, которые сменили бы свою пестроту на пиджак и на брюки; они ходили по европейскому кварталу Тунисии в бархатах, утрирующих национальное одеяние; тунисские мавры и берберы упорны в отстаивании своей традиционной культуры, не в пример каирским феллахам, из кожи лезущим, чтобы быть «европейцами»; в изысканных смокингах, в запахе одеколона, который распространяют они, что-то есть, внушающее сожаленье.

Впечатление от последних недель нашей жизни в Тунисии превратило радесский домик в место усиленного семинария над бытом жизни арабов и обработкой сырья наблюдений, собираемого по окрестностям; в этой работе мы пересекались вполне; ничто личное не вставало меж нами: водворилась меж нами и общность переживаний и общность чтения; я писал «Путевые заметки»; Ася же зарисовывала мне ландшафты, мечети Радеса и типы: для будущей книги; обстание домика располагало к работе в игрушечной комнатке внутри башенки с выходом на плоскую крышу, откуда

РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО
К РОМАНУ «МОСКОВСКИЙ ЧУДАК»,
1925 г.

Собрание К. Н. Бугаевой, Москва



мы озирали Радес, Захуанские горы и кафе, на веранде которого располагались картинно арабы.

Эта крыша — источник многочасовых, задушевнейших разговоров, которые поднимали большие проблемы арабской культуры.

. . . .

Содержанием шестимесячной жизни нам стала романтика, переходившая в бред, сквозь который вырос вместо Африки нам миф об «Офейре»; или же подымался образ близкого будущего: образ Африки, которая множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе.

Как сейчас стоит в памяти изразцовая комнатка, устланная шелками тахта, кайруанский коврик, курильница, из которой струил свои сны темносиний кальянный прибор; я в зеленом халате и феске-чечье, развивал перед Асей свою философию. В эти дни нас связала друг с другом лишь Африка; отнимись она, — мы с испугом вперились бы пустыми глазами друг в друга; с испугом мелькнула бы мысль: почему это вместе мы?

Мы уезжаем в Египет. Приходилось чаще являться в Тунис за справками о Египте, где по слухам гнездилась чума; в санитарном бюро успокоили нас: ничего-де подобного.

В это же предотъездное время я сделал открытое нападение на Эмилия Метнера в длинном письме из Радеса; в нем я подытоживал двухлетие «Мусагета» и сомневался, чтобы политика Метнера, главным образом накладывать свое veto на новые начинания наши, имела бы смысл.

Я писал: «Мусагет» приблизился к тупику, из которого выхода нет; ответ Метнера — даже не крик, а рассерженный взвизг, показавший, что он нервно болен, что надо его успокоить; и я «успокоил», но — с горьким сознаньем.

«ARCADIA»

С таким чувством отплыл я в Египет в туманистый, ветреный день; море пенилось; ночь была лунная; уж на рассвете впереди затуманился впрожелть опаловый остров, как облачный морок, над морем поднявшийся: Мальта; он — приближался; и мы различали квадраты и кубы утесы венчавших домов: это — город Валетта; утесы — в растрещинах; при приближении трещины те оказалися лестницами ступенчатых улиц; каждая состояла из ряда площадок между подъемами в пять, четыре и десять, и больше ступенек; дома, обрамлявшие улицы, вытянулись в четырехэтажные здания, с резными, арабскими окнами.

Я с любопытством разглядывал жителей, — помесь арабов и греков; мальтийки весьма поэтически кутались в свои плащи; и носили крылатые черные шляпы, напоминавшие паруса. Остров был прихотливо разрезан заливами, сложенными из отвесных утесов, между которыми густо дымили здесь спрятанные английские броненосцы эскадры, которая с гибралтарской эскадрой являла мощь Англии.

Город Валетта овеял нас милитаризмом; впечатление крепло; дула орудий глядели из узких проливов на даль; на площади перед дворцом караул золотомундирных, декоративных солдат в снежно белых лосинах и в шапках мехастых картинно нес службу; узнали, что ждать парохода в Египет нам надо с неделю; мы тщетно просили пристроить к любому судну нас; но в пароходной компании в этом отказывали; кто-то сжалился наконец.

— «Стойте-ка, я позвоню. Есть судно в Порт-Саид: оно — с грузом железа. Коль капитан согласится вас взять, то — спешите».

И—телефонный звонок к капитану. Согласие!

— «Судно уходит сейчас!»

Мы — в гостиницу: за багажами; все же — вó-время; длиннобородый, весьма добродушного вида старик-капитан, родом из Вюртемберга, лет сорок сновавший по всем океанам, нас лично повел показать нам каюту.

— «Плывите, хотя б до Китая! Нам будет повадней со спутниками».

Ветер сильно крепчал, когда наша «Arcadia», выйдя из гавани, медленно поплыла вдоль отвесов; тут же позвали обедать, — в общество старого капитана, его помощника, усатого, вежливого берлинца; был вкусен и даже уютен обед; капитан опрокинул нам на-голову ряд рассказов своих, делясь опытом сорокалетнего плаванья; мне запомнились послеобеденные прогулки по палубе с ним; ветер рвал его бороду; бросивши руку за борт, восклицал он:

— «Здесь вот, под нами, в большой глубине живут змеи-гиганты». Я: «Но ученые оспаривают эту веру!»—«Ученые? Что вы говорите!.. Вы нас, капитанов, спросите. Ученые,— много ли плавают? А мой друг, капитан в этом месте сам видел: она поднялась над поверхностью моря — вон там, точно столб телеграфный; и — опустилась».

Дружба со стариком крепла с первого дня; он, узнавши, что Ася граверша, пристал, чтобы она рисовала его; три-четыре сеанса на капитанском мостике сблизили ее с капитаном; и мы получили право бродить, где угодно; с тех пор часто мы забирались на рубку, иль опускалися к скотному двору, устроенному на корме; часто я наблюдал, как китайцы, служившие на «Arcadia», измеривали глубину; «Arcadia» с грузом плыла к берегам Янсе-Кианга; по мере того как мы ближе узнали словоохотливого старика, он к нам стал приставать:

— «Ну зачем вам в Египет? Плывите-ка с нами: в Цейлон. Месяца три после мы застреваем в Японии. Вам слезать нечего: днем можете съезжать на берег; ночи будете проводить на «Arcadia». Я не дорого, право, возьму: за шесть месяцев путешествия с остановкой в Японии, с плаванием по Янтсе-Киангу — три тысячи франков. Идет?»

Случай выпал на редкость счастливый; но — недомыслие, что не взял я аккредитива с собой, и в Каире ждала меня сумма из «Мусагета», а на руках денег не было; так лишился я путешествия; дни, проведенные на «Arcadia», все же осталися в памяти.

В первый день путешествия нас покачало: был шторм; но на следующий же день он перешел в волнение, ставшее легкой, приятною зыбью, сопровождавшей до берегов Египта; цвет моря из темносинего стал изумрудный; начались песчаные отмели; в день, когда море было особенно синим, старик капитан, бросив руку налево, сказал: «Мы на уровне Крита!»

А на другой уже день за той же прогулкой, он, бросив руку направо, воскликнул: «Там — Триполи!»

Воздух мглел и жарчел от пустыни египетской; вечером, накануне приезда, — приказ команде: готовиться к приему угля.

Все нас соблазняли:

— «Что же — едемте?»

Офицеры готовились: вынимали и чистили белые кители, которые завтра станут им необходимы в Суэцком канале: ударит жара.

— «Как вот в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы!»

Мне было жаль бросить милое общество; так хотелось испытать жару тропиков; мне остается «Arcadia» в памяти, как образ чистого передвижения, как соответствие формы быта с самим содержанием жизни; но — делать нечего; и мы следили печально за тем, как из мутей выяснивался нам Дамьетский маяк; прошли мимо него, мимо отмелей Порт-Саида, откуда издали стал возвышаться и, наконец, приблизившись, вырос памятник инженера Лесепса.

Навстречу к нам мчалась с берега моторная лодка; и в белом, пикейном во всем взошли местные власти и доктор: по трапу.

КАИР

Порт-Саид — город авантюристов; вдоль белых домиков, рассевшихся у канала, толпа подозрительных греков и левантинцев, шикующих чуть ли не розовыми и сиренево-нежными пиджаками; здесь смеси культур, флор и фаун трех континентов: наряду с флорой Греции — искусственно насаждаемая флора Бенгалии вместе с обычною африканскою пальмой.

Поезд мчал уже нас у самого берега узкого и лениво посверкивавшего канала; и мы сравнивали колориты песков двух пустынь: ливийской и аравийской; песчаные дюны Аравии виделись мне красноватыми; дюны же Африки помаячили бледно-мертвенным, зеленовато-грифельным колером; вероятно, это была лишь иллюзия восприятий; пустыня струилась и зыбилась потенциалами всех возможных миражей; верблюд, морду вздернувший, мне казался зеленым на фоне дрожащего, рыжекрасного колера; вдоль канала двигался еле-еле корабль, проталкиваясь к Суэцу; но — крутой поворот; и канал — отступает; мы мчимся на всех парах прочь: впереди нас — цветущий оаз, ослепляющий яркою зеленью сахарного тростника, среди которого вылепились из коричневосерого ила квадраты домов, прозиявши пастями дверей и дырами черных окон; мы проносилися мимо грязного города Загазига и продолжали нестись средь густеющей зелени; линия приподнятого над нами оросительного каналика, обросшего деревцами; острый, крылатый бело-голубой парус; кажется, что он скользит по земле; там же — пашут: мотаются головы черных буйволов; а кубово-синие сельчане-феллахи

в коричневых шапочках, в длинных пышных широкорукавных одеждах-абассиях ходят за ними; и вспоминается:

Золотые изумрудные
Черноземные поля.

В. Соловьев

Около Каира врезаемся снова в песчано-пыльные местности; вон — блеснул Нил; из пылей, от бесплодных холмов Моккатама мечеть Измаила, рябые ворота и башни облупленные Цитадели; а что там за Нилом? Тускнеющие треугольники; как, — пирамиды? Не верится.

Ехавший с нами в Каир египтянин в изящнейшей феске и в палевой паре разговорился от самого Загазига: со мной; к моему изумлению он оказался поклонником Льва Толстого.

— «Каир, о, Каир!» — восклицал всю дорогу.— «Нет города великолепней! Недаром он самый дорогой город в мире. Да вы сами увидите...»

Он оказался чиновником; и всю дорогу рассказывал нам анекдоты и случаи из своей деятельности; между прочим — про город, затерянный где-то в песках; его жители все погибают от смертных укусов зеленого скорпиона, кишащего в скалах и в трещинах старых домов; там в фарфоровые баночки с кислотой ставят ножки постелей, чтобы не заползло насекомое; узнав, что нам надо достать себе комнату подешевле, он вызвался тотчас же свезти нас в отель, откуда бы мы спокойней могли начать поиски постоянного помещения.

Вот и каирский перрон: лай носильщиков, плеск их халатов, разрывы на части испуганных пассажиров; сплошное ха-ххà, из которого выкрики: «дхàласса», «avec moi», даже «князь»! Не случайно первый же проводник наш рекомендовался нам Ахметом-Хáхою; субъекты, в Каире на нас нападавшие, стали мне скалящей зубы, кричащею Хàхою.

Ну и отель! В комнатеночке — сор; подоконники — темно-коричневые от густой, руки мажущей пыли; и — пыль не вода; служитель, носатая Хàха в абассии, совсем не внимал мольбе: дать воды; из окна — гам, коричневое пересеченье ульченок, безвкусных, бессмысленных; ими мы долго кружили с вокзала, проталкиваясь сквозь толпу и наталкиваясь на верблюдов; невесело встретил Египет; развернув план Каира, который я прежде еще изучил, мы наметили себе квартал Каср-эль-Ниль; и к нему тотчас двинулись.

Еще в Тунисе вносили мы мзду где-то в агентстве, рекомендующем иностранцам, где справиться о сдаваемых комнатах; нам указывали на квартал Каср-эль-Ниль; приезжающие богачи телеграммой заказывают себе комнаты в колоссальных отелях, «Палласах», «Спландидах» и прочих «Hôtel premier ordre», где и платят минимум 20 франков в сутки за комнатку в два-три шага: не более.

В Каире более миллиона жителей; он раскинулся на громадное пространство, врезаяся в гущу тропической зелени — здесь, там — подскакивая на каменистую и вовсе бесплодную почву, там кварталами вылезая в безводье ливийской пустыни; он — переплетенье арабских и коптских кварталов с полуевропейскими, даже совсем европейскими; все части города пересекает трамвай; мы, вскочив на него, понеслись через путаницу кривых загогулин; и оказались в широких, прямых, как стрела, зеленеющих улицах с рядом цветущих газонов, переходящих в сады, над которыми дуги трескуче пылящих кишек орошали перловыми брызгами зелень; и это все в перебивку с тяжелыми, шестиэтажными зданьями светлокоричневого и темнобурого колеров, тонущими в сети веранд, надувающих свои парусины; это все обиталища биржевых королей, отдыхающих здесь; на тонных проспектах, украшенных серыми касками египетских полисменов, широкоплечих, с узкою талией, стоящих на перекрестках — везде чистота; самые жесты, с которыми полицейские подымают белую палочку, напоминали жесты египетских

человечков на фресках; так старый Египет врывался в каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы; он обслуживал уличное движенье, или стоял здесь, как знак украшенья проспекта; и над бытом двадцатого века из тусклого неба являлося царство теней; ряд проспектов, прямых, как стрела, открывали вдали перспективы из пальмовых парков; вот повис мост Каср-эль-Ниль меж Каиром и островом спортивных площадок, открывая дорогу в Булакский музей с возлежащей в нем, как живой, мумией фараона Рамзеса II, разительно улыбавшегося из стеклянного гроба белым зубом своим, с которого не стерта эмаль; и казалось, что встанет: надев модный смокинг, пройдет по проспекту весьма фешенебельно, замешиваясь в утонченные пары из леди и джентльменов в белейших костюмах, в колониальных касках с плещущей вуалью — в хамсин, южный ветер пустыни; небо станет коричневобурым тогда от летящих над головою песков; все закутаются в вуали, спасая глаза.

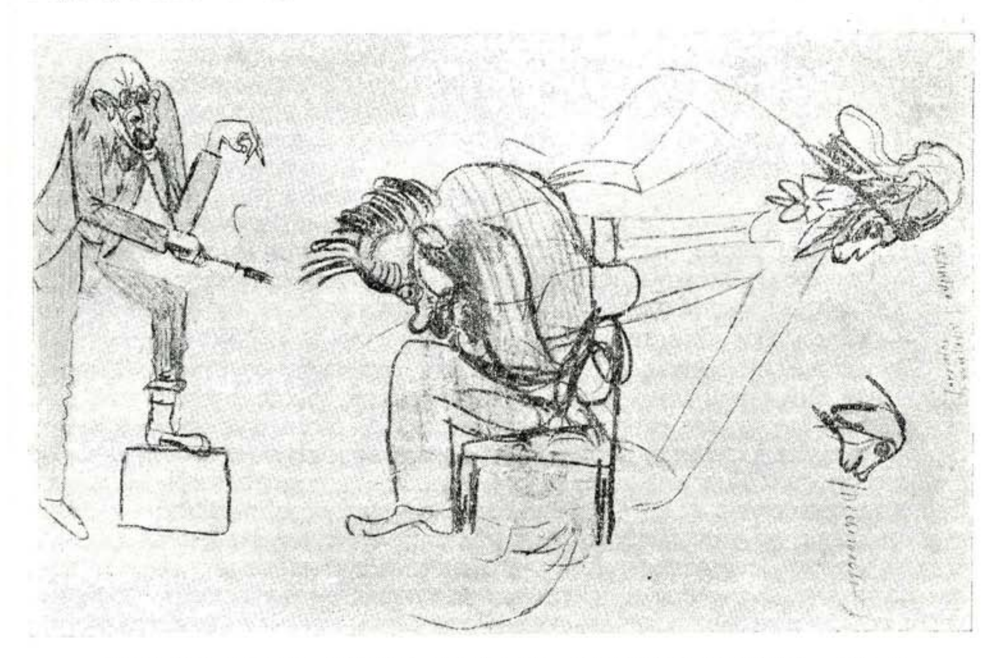


РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО К РОМАНУ «МОСКОВСКИЙ ЧУДАК», 1925 г.
Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

В этих тонных кварталах обитель теней проницает весьма фешенебельные, цветочные, парфюмерные, табачные, книжные магазины с разбитыми перед ними искусственными цветниками; в табачных — расставлены кадки с растениями при тростниковых креслах, в которых сидят джентльмены, раскуривающие тут же купленные сигары; кафе-курильня, а не магазин.

Бродя, выходили отсюда мы к великолепной набережной; и пересекши мост Каср-эль-Ниль, заходили в кафе Булакского парка, свисающее над отвесами нильского берега; и склонясь над водой, отдыхали под колоссальными пальмами; солнце уже становилось, склоняясь к закату, тусклеющим кругом; и — угасало в пыли: высоко над землей; веяньями здесь неслись мимо коричневатые сумерки; пальмы теряли стволы в карей тускли; под ногами вдоль Нила, бывало, — лёт полосатых бело-голубых парусов; вдруг — прекрасное просияние мути, но без источников света: грустные, золотокарие эти, щемящие сумерки я полюбил, хоть рыдала душа; пошуркивали большеголовые ушастые ящеры, косолапо скрываясь в мангровой заросли (флора здешнего сада — бенгальская).

В первый же день, зайдя в агентство и получив адреса сдаваемых комнат, мы сняли сравнительно недорогую на улице, прилегающей к Каср-эль-Ниль, у венгерки — одной из тех дам, которыми переполнен квартал и занятья которых весьма подозрительны: не то сдача комнат, не то — дом свиданий! Обитатели Каср-эль-Ниль — не местные жители: европейцы, шикующие левантинцы, воняющие одеколоном и луком, да греки; Каир — тоже город авантюристов; в этом квартале города подчеркнуто настроение разложенья и гибели; американский или английский буржуа, пересаженный из своего домашнего кресла в каирское кресло, выглядит часто посаженным на... электрический стул; ему хочется крикнуть: «Петля и яма тебе!».

Набережная Каср-эль-Ниль и сады Булака — место моих размышлений о европейце, колонизаторе; надо увидеть его не в центре страны, а в колонии, чтобы понять перерожденье его в кровь сосущего паразита; французы с нарочною откровенностью жалят арабов; в Каире же англичане не замечают их; арабское население, арабские магазины — ничто; один египтянин, шикарно одетый, мне с яростью жаловался: «Верьте,—не было случая, чтобы приехавший сюда англичанин раз хоть что-нибудь купил у араба; чиновники, состоящие здесь на службе, раз в год, получивши отпуск, едут в Лондон, где закупают все, что нужно на год — от костюма до... английской булавки». Игнорированье всего характерного, неанглийского, у англичан есть инстинкт; в здешних отелях вы не отведаете местных блюд; англичанину, путешествующему с Куком, закрыта страна, по которой он путешествует; те же виски, плум-пудинг; попав в пирамидный отель, я увидел фраки, оголенные лопатки напудренных старых леди вместе с плум-пудингом. Английская мумия оказалась мертвее египетской, ей говорившей:

— «Здесь яма и петля тебе!»

Булакские сумерки с первого дня мне связались со старым Египтом; вскочивши в трамвай и промчавшись по мосту, разрезав тропический парк, оказались у места, где все засерело песками на сотни пустых километров; сурова пустыня ливийская в сумерках; помню, как соскочили с трамвая мы около гостиницы Пирамид перед двумя чудовищами, тяготевшими миллионнопудовыми глыбами камня, расцвеченными заревыми рефлексами: от фиолетово-розовых до угрожающих ржаворыжих; мы тронулись к ним, утопая ногами в песке, отдаваяся чувству, что каждый шаг выдавливал новые тяжести, которыми пирамиды и крепли и разбухали; вот и заняли собою полнеба; серяво повесился бледный месяц меж ними; переживали странное чувство, как будто от них через нас пробежал электрический ток непрочитанных образов прошлого, вскрывшего свои ужасы; все, что ты мыслил о древнем Египте, вдруг смылось Египтом, действительно бывшим, но в книгах нечитанным; ты его читаешь из книги, тебе открывшейся вдруг: точно ты жил в нем, заснул, и, очнувшись чрез пять тысяч лет, видишь ясно, что́ было; и видишь, что яма и петля была для тебя, человек.

Так пережил я, ощупывая первый камень у всхода; камень мне оказался по грудь; шириною ж был равен моим распростертым ладоням, прижавшимся к серой его, рябоватой поверхности; пирамида заламывалась в небеса, скрыв вершину; а бок ее виделся с улицу; тысячи трухлявых камней свои громоздили массивы; и я ощущал себя с вырванным мозгом и с волосами, стоящими дыбом (темя покрылось мурашками); не было имени странному состоянью сознания, нас охватившему близ пирамид в час заката, когда воздух стал карим и охватила старинная, неизъяснимая, невыносимая грусть.

С этого дня мы ходили часто сюда; мы ощупывали ступени ладонями, или сидели в песке пред огромной, разрытою негрскою головой: сфинкс глядел нам в глаза; феллахи, как черти, бросавшиеся на туристов, взявши с нас мзду, уже нас не тревожили, предоставляя свободу слоняться, присаживаться на ступени гробниц, иль таиться в сумерках среди вырытых колонн

храма сфинкса: до ночи; здесь дни были пламенные; ночи же нас замораживали; небо делалось невыразимо синим, прозрачным; дымилось сияние месяца; около 12 ночи мы мчались в почти опустевшем трамвае над тишью песков, уносяся в цветущие парки Булака.

АРАБСКИЙ КАИР

Влево от набережной Каср-эль-Ниль в низменной местности, куда ведут холмистые склоны, — ряд коптских кварталов; местность эта называется «старый Каир»; тут же находится остров Рода; на нем сооружение Нилометра; грязь, пыль, блохи встречают вас здесь; и главное: здесь подвергаетесь вы нападенью особого типа разбойников, беспрепятственно схватывающих за шиворот; это — проводники; они устраивают здесь облаву; и вы загоняетесь в ту или иную коптскую церковку; я не раз схватывался с этими разбойными кучками, защищая свободу передвиженья себя и Аси; приходилось при помощи палки от них отбиваться; хотя двигаться здесь одному — это значит: застрять в тупике, потеряв надежду на выход в иные кварталы; головоломки сплошных и грязно-коричневых тупичков производят впечатление баррикад, под которыми надо нырять; надо знать, где проюркнуть и где перелезть, чтобы мочь двинуться дальше.

Коптские церковки миниатюрны; но их следует осмотреть непременно: иконостасы их отличаются бесподобно тонкой резьбой с тонкою костяной инкрустацией в темнокоричневом дереве; любопытны огромные, церковные книжищи в инкрустированных переплетах; коптские попы что-то бормочут, в них уткнувши носы; что́ именно, не понимают они и сами; они крайне невежественны. В этих грязных кварталах встречаете вы очень стройного, тощего, как сажа черного абиссинца с орлиным носом, острой бородкою клинушком и протонченным лицом; выбираясь из старого города, вы поднимаетесь вверх и попадаете в мучительное сплетенье арабских кварталов, где улицы грязны, темны, потому что каждый этаж выступает над нижележащим; дома же здесь трех- четырехэтажные; улица представляет собою с двух сторон систему выступов, заслоняющих свет; видишь полоску неба вверху; внизу гамканье, сор, толчея, локтебои: толкается все обилие мусульманских народностей; и феллахи, и арабы Африки, и арабы Аравии все в серо- и белочерных плащах, в характерных повязках, арабы Берберии, левантинцы в пиджачных парах, субъекты в абассиях, поверх которых нелепо надет европейский пиджак; на маленьких площадках неподвижно сидят узкоглазые, цепенеющие монголы из Средней Азии с узкими глазками и с характерными скулами (вероятно паломники, посещающие Каир на обратном пути из Мекки); в этой пестрой толпе ковыляют, ползают, показывая свои ужасные язвы, уроды и карлики; такого бреда нигде не встретите вы; в это месиво врезываются караваны богато украшенных пестропопонных верблюдов с сидящими на них неподвижно цветистыми женщинами в шелках; тут мелькают феллашки с глиняными кувшинами на головах и плечах; они в черных платьях; и выглядят точно наши монашенки; у них полуоткрыто лицо, занавешенное от переносицы до подбородка; глаза же живые и огненные.

По сцеплению коленчатых уличек вы проталкиваетесь вместе с толпой мимо дыр, открывающих в улицу свои сласти и пряности; тут продажа шелков, туфель, кож и мехов; вы пересекаете площади шагов пятнадцать в диаметре с витиеватыми, исщербленными тяжелой лепкой мечетями, при которых высокими пальцами торчат шестигранные, покрытые, как лепною проказою, минареты. Знаменитые в прошлом мечети Каира не нравились мне; по отношению к мечетям Тунисии, Персии, Туркестана они являют собой безобразное, завитое барокко; между тем мечети эти видели в своих стенах белую, стройную фигуру самого Нур-Эддина, о справедливости которого ходят в Каире рои мусульманских легенд; по этим вот уличкам он, великолепный

наездник, ловко умеющий на коне отбивать мечи, ехал — суровый, прямой, плеща складками с него спадающего бурнуса.

Иногда, попавши в струю, вы несетесь десятками изломанных уличек; и — вдруг: выталкиваетесь в молчание пустой площади, не зная, где вы теперь очутились; в площадь вливается ряд пустых кривулей: совсем мертвый квартал! Некого спросить, как вернуться к местам, более или менее обитаемым: ни полисмена, ни трамвая, сесть негде — так всюду грязно; о том, чтобы зайти в кафе, нельзя и подумать; просиживал много в арабских кафе Тунисии и Радеса, чистых, играющих изразцами; в здешних кафе кишат блохи да вши.

Две трети Каира состоит из сплетенья кварталов, подобных описанному; местность эта, коли итти от Нила, поднимается вверх до подступов и башен огромнейшей городской Цитадели, поднятой над Каиром; он простирается весь под ногами теперь; вблизи Цитадели — протянутые к небу пальцы больших минаретов, принадлежащих главным мечетям Каира.

Между арабским городом и европейским кварталом — ряды улиц, представляющих собой слепленье полуевропейских, полуарабских, убивающих своею безвкусицею домов; забредя сюда раз или два, мы потом старались обходить эти места; да и в арабском городе не слишком долго застрянешь с целью понять его быт; после каждого посещения необходимо переменить белье, которое здесь становится неводом, уловляющим блох.

Я не стану описывать, как мы осматривали арабские музеи и прочие достопримечательности; это все рассказано во втором томе «Путевых заметок»; не в музеях характерность стиля Каира, как целого, а в разнобое кварталов.

ДРЕВНИЙ КАИР

Старый арабский Каир не волнует; а пятитысячелетний древний Египет, кометой врезаясь в сознание, в нем оживает, как самая жгучая современность; и даже: как предстоящее будущее. В чем сила, превращающая тысячелетнюю пыль в наше время? Терялся в догадках, почему в стране мумий Европа оказывалась неотличимой от мумии? Вероятно, что мы стоим накануне работ, осуществимых лишь миллионными коллективами, подобными тем, которые некогда выбросили в небеса громады сфинксов и пирамид. Но вздрагивало сознанье, что мы стоим накануне возведенья циклопических контуров, какие взлетали в древнем Египте. Рабы ли мы — вот что́ меня волновало в Мемфисе, когда я попирал ногами гранитную статую фараона Рамзеса, источенную дождями и ветром; сам фараон живо мне улыбался из своего стеклянного гроба и выглядел моложе своего изваяния; в Египте я прозирал новый Египет, развивавший вокруг себя свои повторные формы; скоро открылось мне, что в бетонах Европы тот же, по существу, не изменившийся египетский стиль; Египет папирусов — прах: подлинное перевоплощенье Египта — технические сооружения электростанций, мостов и т. д.; и этот Египет повсюду присутствовал с нами; он восставал перед нами и образом египетского полисмена в английской каске с поднятой белой палочкой, задержавшего перед нами трамвай тем же самым египетским стилизованным жестом, который сохранил полубарельеф, выщербленный на мастаба *; этот Египет выскакивал на европейский проспект обелиском; из парка, посыпанного пирамидным песком, перекочевывали мы на... этот самый песок; пирамиды притягивали; мы ощупывали рябые их камни, тая умысел самим, без феллахов, вскарабкаться на вершины их, хотя бы ценою невероятных усилий; но толпа крючконосых «дьяволов» в черносиних абассиях, и эффектно задрапированных в серые и фиолетовые вуали, бросалась за нами, едва пытались мы подняться на первые массивы, брошенные у основания пира-

* Мастаба — могила.

миды; нас стаскивали обратно; раз удалось лишь добраться до входа во внутренность пирамиды: нам показалось, что смотрим мы с вершины трех- четырехэтажного дома; тут же толпа вскричавших феллахов грубо нас сволокла; мы оказались у будки, где мне предложили дать подпись, что управление пирамид не ответственно в нашей гибели; пришлось покориться; но когда я увидел толпу человек в тридцать пять, составлявшую наш эскорт при подъеме, я опять взбунтовался; и тяжбу с толпой разрешил шейх деревни, дав нам по два проводника, которые должны были тянуть нас за руки при подъеме; третий должен был подкидывать сзади; проводники пригласили новых проводников; при нас сверх того оказались: сказочник, кофейник, гадальщик; словом — двадцать человек с гамом и криком ринулось с нами, когда мы понеслись на гигантских прыжках осиливать не менее 180—200 ступеней, вышиной около полуметра; это скакание задыхающихся, вверх подбрасываемых тел, *молящих об остановке*, было подобно пытке; сначала адский галоп пошел вверх по ребру; остановка; мы оказались припертыми к площадке, на которой едва могли удержаться ноги; внизу была бездна, куда я бы свергся, если бы не кольцо из феллахов, нас прижимавших спиною к ребру; потом тем же адским галопом швыряли нас вкось от ребра; так достигли половины подъема; и после присели; Асе тут сделалось дурно; я оказался припертым к ступени, которой высота была более метра, а широта сиденья не более 20 сантиметров; в этом месте ужасна иллюзия зрения: над головой видишь не более трех-четырех ступеней; вниз — то же самое; ступени загнуты; пирамида видится повешенной в воздух планетой, не имеющей касанья с землей; ты — вот-вот-вот свергнешься через головы тебя дер-



РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО К РОМАНУ «МОСКОВСКИЙ ЧУДАК» 1925 г.

Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

жащих людей, головой вниз, вверх пятами; мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения; это странное физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости тебя наизнанку, называют здешние арабы пирамидной болезнью, средство от которой горячий кофе; пока мы «лечились» им, проводники, сев под нами на нижних ступенях, готовы были принять нас в объятия, если б мы ринулись вниз; а хотелось низринуться, несмотря ни на что, потому что все, что ни есть, как вскричало: «Ужас, яма и петля тебе, человек!»

Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей жизни; последствие пирамидной болезни — перемена органов восприятия; жизнь окрасилась новой тональностью; как будто всходил на рябые ступени одним, сошел же другим; измененное отношение к жизни сказалось скоро начатым «Петербургом»; там передано ощущение стоянья перед сфинксом на протяженье всего романа.

«Пустыня... кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем — мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться! В толстом пробковом шлеме с вуалью сидит Николай Аполлонович на куче песку... Перед ним — громадная голова: валится тысячелетним песчаником. Николай Аполлонович сидит — перед сфинксом... Николай Аполлонович провалился в Египте... Культура — трухлявая голова: в ней — все умерло...; будет взрыв: все — сметется»; но «есть какие-то звуки; грохочут в Каире; особенный грохот: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович — тянется к мумиям». (Пет., 2-я часть, стр. 268).

«Завечерело; в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты грозно; да, да: все расширено в них...; загораются темнокарие светы; и — душно. И он привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку; он сам—пирамида, вершина культуры, которая — рухнет» (Пет.).

Вот с чем сошел я с вершины, как бы оглушенный паденьем огромного тела; и глухоту с той поры я понес по годам; «пирамидная болезнь» длилась долго; меж влезанием на трухлявый бок пирамиды и переживаньями «Петербурга» протянулась явная связь; приводимый отрывок вставляю сознательно я в этом месте; эта — схваченность роком, вперенность в сфинкса, загадывающего нам загадки, сопровождала года.

. . . .

И — снова галоп; и вновь — остановка; и наконец — на вершине мы; площадка — не более десяти шагов; эти десять шагов образовалися потому, что англичане, молоточками откалывая себе по куску, снизили пирамиду метров на пять; сверху кажется она невысокой; расстояние до основания быть может уменьшилось от падения сумерок; солнце село; один из арабов, бросивши руку в рябую песчаную тускль ужасающей мрачности, произнес: «Там — смерть! Там — блуждай месяцами, — не встретишь воды...» Действительно, — там разбросались не пески даже, а черные, до ужаса раскаленные камни — хамады, где никто не бывал; в Сахаре нет таких мест; только Ливийская пустыня их знает.

Спуск с пирамид легок.

. . . .

Наши прогулки по паркам Булака часто оканчивались у подножия пирамид; здесь развертывалась пустыня, соблазняя к экскурсиям: в Мемфис, в Бедрехем и к другим прикаирским окрестностям; то мы посещали домик Мариэтта и опускались в могильные помещения, которые, как, например, комнатки гробницы Ти, восхищали чудесными полубарельефами стен, высеченными с предельной реалистической четкостью; то мы блуждали по подземной галлерее Серапеума, разглядывая открывающиеся справа и слева гробницы аписов; то отдыхали, присев на огромный поверженный гранитный мавзолей Рамзеса: в Мемфисе, представленном не памятниками, а только

пальмовой рощей да озерцом; запомнился переезд из Мемфиса к пирамидам Гизеха на осликах; мы ныряли среди песчаных бугров, вдоль маленьких котловин, с дна которых дали не видны, а видны отовсюду вытарчивающие пирамидки, и между ними одна, ступеньчатая, эпохи персидского владычества; этот путь в обстании холмов и могил, средь египетского полудня, когда солнце отвесно бьет с бешеной силой, растопляющей мозг, мне запомнился, как некий ужас; и я, трясяся на ослике, напяливши куртку на палку, приподнятую, как зонт, повторял текст из Библии: «Бойтесь беса полуденна»; опалялась сухая гортань, в глазах плясали красные пятна; кубовое небо над головою густело до черноты; всякий след двадцатого века стирался в сознании; тысячелетия прошлого, обстав вещественно знаками своего бытия, были единственною реальностью; увидавши этот древний Египет среди бела дня в нашем веке, я позднее в Европе его узнавал: на авеню Елисейских полей перед обелиском, и на Невской набережной в Петербурге пред сфинксами; он вставал отовсюду — мертвец, заключая в гробничную духоту, поднимая мучительные кошмары.

Наши вечерние прогулки по Каср-эль-Ниль и задумчивые посиды в Булакских садах остались мне, как этап жизни, как переоценка прежних путей и как охваченность чувством рока, связавшегося с нашим бегством из Москвы; это бегство развертывалось для нас все более и более в провал всей культуры; обнаружилось, что бежали не из Москвы мы, а из целой трухлевшей культуры; Москва, Париж, Лондон, Каир — все одно; и недаром египетская старина прорастала в Египет двадцатого века; как и наоборот: Лондоном, Берлином, Парижем, Москвой этот век безысходно валился в египетские подземелья; и недаром рыдала душа на булакском закате; она рыдала о том, что нет вырыва ей: всюду — рабство; меж нашим уездом и будущим испуганным возвращеньем «домой» углублялась переоценка всех ценностей — личных, идеологических; перерождался взгляд мой на жизнь, неся в будущем ряд своих революций, протекавших по-разному во мне и в Асе; наше стояние друг перед другом в Египте связывало внутренние перевороты, происходящие в нас, с образами друг друга; образы эти разрастались неимоверно; и Ася, казалось, вперяется в меня взором сфинкса; и я, вероятно, вперялся в нее этим взором.

Каир остается мне переломным моментом во всем путешествии нашем; до Каира как бы путь лежал наш вперед; с Каира же начиналось возвращенье туда, откуда мы вырвались; мы возвращались, чтобы вынашивать, сидя на месте, теперь вовсе новые критерии жизни, не входившие доселе в сознание; поглядев друг на друга с испугом, как бы мы увидели: из глаз наших смотрит неведомое — друг на друга.

Мы в Египет приехали на три недели и хотели проехать до нильских порогов, посетивши Люксор, Ассуан; но несчастное разгильдяйство мусагетского секретаря Кожебаткина нас не только лишило поездки, оставив без денег, но и заставило пять недель ожидать этих денег в раскаляемом день ото дня и овеваемом хамсином Каире; явь мешалась с кошмаром; все последние дни мы, как бредили, тоскливо шатаясь по Каср-эль-Ниль и тщетно тщась бежать из Египта; наконец, день настал; взяты билеты в Яффу; помнится, накануне отъезда мы сидели над Нилом и созерцали в последний раз медленный золотокарий закат; сумерки полнились уху неслышным рыданьем; мне вдруг стало грустно, что никогда уже не увидим этих мутных и трепетных сумерок; мы прощалися с ними: их не увидели больше нигде.

ИЕРУСАЛИМ

Последние две недели в Египте как бы мне прошли под хамсинными сумерками; мертвой, желтокоричневой мутью окрашен был свет; в день отъезда такие же сумерки тускло маячили над Порт-Саидом; по мере того как

перемещались мы к Яффе, мне отчетливей осозналося: сумерки эти — весьма символические: для нас они — сумерки всей Европы.

В Тунисии я впервые увидел изнанку колонизации; она мне открылась, как паразитизм; Египет лишь утвердил это мнение; после Тунисии и Египта с особенной лютостью относился я ко всем выявлениям европейской цивилизации. И я осознал, что итог путешествия нашего не случаен: мы ехали с Асей в Европу, а оказались совсем неожиданно в Африке; возвращались же Азией, минуя Афины, где мы должны были оказаться согласно первоначальному плану; и это — не спроста; европейцы всюду нам предстояли, как угнетатели, исказители и развратители мира; с тех пор до самых годов мировой войны во мне стали медленно крепнуть переживания, итог которых— решительное принятие лозунгов Октября; о политике я эти годы не думал, а оказался с момента войны в самых левых рядах, неприемлющих старого мира; после африканского путешествия Россию я уже не противополагаю Европе; весьма характерно, что Иерусалим встретил меня конфликтом с русской буржуазией; конфликт произошел в отеле Иерусалимского подворья, в котором остановились мы.

Ранним утром наш пароход закачался у ясных вод Яффы; мы впервые после пятинедельной жизни в Каире увидели юно-весенние бледноголубые барашки на небе и чистые юно-голубые тона весеннего неба, сообразив, что более месяца небо Египта не показало нам ни одного настоящего облачка, ни чистого голубого тона; небо Египта виделось кубово- или коленкоровочерным, когда не бывало тусклью; помню, как радостно мы стояли, опершися о борт и разглядывая совершенно прозрачную воду, из которой фосфорно нам сияли розовые, бирюзоватые или фиолетовые стайки в воде скользивших медуз вместе со стайками бриллиантовых рыбок; перед нами стлались зеленые апельсинники Яффского берега, покрытого беленькими домиками европейского типа; голубой фон далеких иудейских гор придавал особую приветливость береговому ландшафту; пароход осадили многие десятки пестреньких лодочек с разноцветными лодочниками, кричавшими во все горло; вот босоногая толпа уже с громкими криками абордировала пароходные трапы; мы были схвачены, скручены, чуть не избиты; вещи наши тотчас же вырвали у нас; и — вот: они — полетели за борт; я схватился за Асю, чтобы хотя бы ее не оторвали грабители от меня; мы попали с ней в одну лодку; но я с ужасом видел, как вещи наши через головы крикунов, метавших их из рук в руки, неслись далеко от нас: куда-то в сторону; я тщетно кричал, протягиваясь за ними; успокоительно с берега мне махали руками: де все разберется.

Действительно: вот уже мы в вагоне; вещи при нас; но новая мука: десять минут ругани с роем кричащих голов в фесках, желающих аннексировать нас на все время нашего пребывания в Палестине:

«Два фунта в день, включая поездки в Вифлеем, к Галилейскому озеру, на Мертвое море! Будете довольны... Хорроошие ослики».

Отмахиваюсь.

Поезд уже летит по свежим, зеленым, покрытым яркими пятнами цветов лугам и холмам Иудеи, встретившей нас пышной, молодой еще зеленью, свежестью и даже влагой; но скоро же начались здесь дождливые дни; солнце спряталось; а я — схватил насморк.

От Яффы до Иерусалима — незаметный подъем; перед Иерусалимом— гряда иудейских холмов развертывалась сплошным недостроенным городом; среди этих вылепленных природою стен, бастионов и барельефов, — отчетливый орнамент настоящей стены с вышками церквей и мечетей, выточенный из веселоцветного местного камня; так издали выглядел семиворотный, пестроцветный Иерусалим, обстанный многими домиками широко развернувшихся европейских предместий, состоящих из сплошных садов миссий — английской, русской, французской, немецкой и т. д.

Не помню, где мы остановились; помню, что это был английский отель, — дорогой, неуютный, безвкусный и чопорный; выскочив из него, тотчас же мы зашатались по кривеньким уличкам мусульманского города и по пригороду, ширившему свои парки, в которых тонули постройки, принадлежавшие миссиям; огромные, зеленые пространства русской миссии притянули наше внимание, хотя бы потому, что сады ее пересекал поток мужиков и ярких кумачевых баб; мы пять месяцев не видели русского человека; а тут сразу — Тула, Рязань, Ярославль и т. д.: ярмарка говоров, окающих и акающих, чувствующих себя, повидимому, как дома; мне запомнилась баба, торговавшая здесь какой-то мелочью:

— Давно в Иерусалиме?

— Приехала назад восемь месяцев; так тут повадно... Я и осталась!

Поздней мы узнали, что многие из богомольцев застревают на месяцы; не умею сказать, где они проживают и чем промышляют; но должен сознаться: окрестности Иерусалима после Египта показались мне очень уютными; самые турки, сирийцы, арабы по цветам, по манерам так согласно сливались с российскою кумачевою пестротой; особенно назаретские женщины с незакрытыми лицами, в красных, на подобие сарафана, платьях, выглядят знакомо: настоящими рязанскими бабами; я потом наблюдал переход национальностей от Сирии до Украины; мне казалось, что перехода никакого и нет; уезжая на Запад, чувствуешь резко границу: между Волынью и Австрией; а между Африкой, Азией и югом России — границы не чувствуешь.

. . . .

В Иерусалим мы приехали перед Пасхой; и, следовательно, посетили подобающие, религиозные церемонии: и омовение ног, и святой огонь, и т. д.; в прочее время мы с увлеченьем толклись по тесным ульченкам турецкого города, чаще всего забегая на пустую, огромную, камнем мощеную площадь, которой кончался город, обрываясь к Елеонской горе грандиозной верандой; посередине ее шестигранно высилась, поражая мозаикой, розово-красная мечеть Омара (здание эпохи Юстиниана); она стояла на месте древнего Соломонова храма; посередине пространства ее — скала, на которой Авраам приносил в жертву сына; пестро веселые стены и улицы Иерусалима не имеют ничего общего с древним городом, разрушенным до основания Титом; постройки относимы к эпохе крестоносцев; христианские «святости» здесь перемешаны с мусульманскими памятниками; вы идете по людной, торговой уличке, свертываете почти к отвесному спуску, и — попадаете... на крышу храма гроба господня, здания, состоящего из ряда церквей, под одной общей кровлей; здесь гроб господень соединен переходом с Голгофой, находящейся под покровительством католиков; посередине квадратной комнаты на каменном столбе стоит реалистически разрисованный... земной пуп, о который я больно ушиб колено.

Страстная неделя — разгары страстей, приводящих к дракам среди духовенства; места в храмах разобраны по часам представителями разных культов; если к известному часу не кончат службу, скажем, католики, — врывается дикая толпа бородатых православных монахов и бьет их крестами по спинам; при этих частых побоищах являются турецкие городовые; они величественно предшествуют всем процессиям, пристукивая огромными булавами по мостовой; процент сокрушенных скул и носов увеличился бы, если бы не эти защитники христианского культа; мне рассказывали про побоище, бывшее незадолго до нас в подземных коридорах Вифлеемского храма, — около яслей; здесь рубились крестами попы разных культов; те же турецкие городовики ежегодно спасают жизнь патриарха на празднике нисхождения с неба огня; я видел это ужасное зрелище: дрожащий от страха старец, облеченный в белый атлас, несется с двумя факелами в руках, как затра-

вленный заяц, охраняемый городовиками от тысяч с ревом прущих за огнем богомольцев.

Мрачное впечатление произвела на меня иерусалимская «святая» неделя; церемонии напоминали порою фиглярство; так: видел я обряд омовения ног, происходивший на площади перед гробом господним; я его разглядывал с крыши одного из домов, выходящих на площадь; обряд этот, совершаемый двенадцатью епископами, комичен до ужаса; двенадцать стариков в золотых митрах обнажили ноги, а патриарх трудолюбиво их отирал.

Видел я также и плач евреев о разрушенных стенах; пять-шесть стариков в золотых халатах перед иерусалимской стеной привлекли много сот любопытных, щелкавших кодаками вокруг этого зрелища.

Но в гораздо большей степени Иерусалим мне запомнился веселыми прогулками за пределами города с посидением в турецких кофейнях, где я много беседовал с добродушными турками; запомнился и инцидент в мечети Омара; о нем писали в европейских газетах; какие-то любители-археологи, подкупивши шейха мечети, производили в месяцах по ночам в ней раскопки; они выкрали какие-то разрытые ценности; в ночь же открытия кражи из Яффы отчалил корабль с похищенным; мы, ничего не зная о событии, взволновавшем Иерусалим, бродили в этот день перед мечетью Омара, удивляясь глухому волнению вокруг нас; женщины, мимо которых мы шли, поднимали руки над нашими головами, повидимому, проклиная нас; а два парня в фесках схватились даже за камни; мы поспешили ретироваться; когда ж подходили к ограде миссии, то встретили наших крестьян, бегущих от площади храма гроба господня; они кричали: на них-де в городе напали турки; за обедом заведующий подворьем сказал:

— Как? Вы ничего не знаете? Весь Иерусалим кричит о воровстве в мечети. Дернуло вас итти на площадь в эдакий день... Не выходите за ограду Подворья сегодня. Иначе я не ручаюсь за вас.

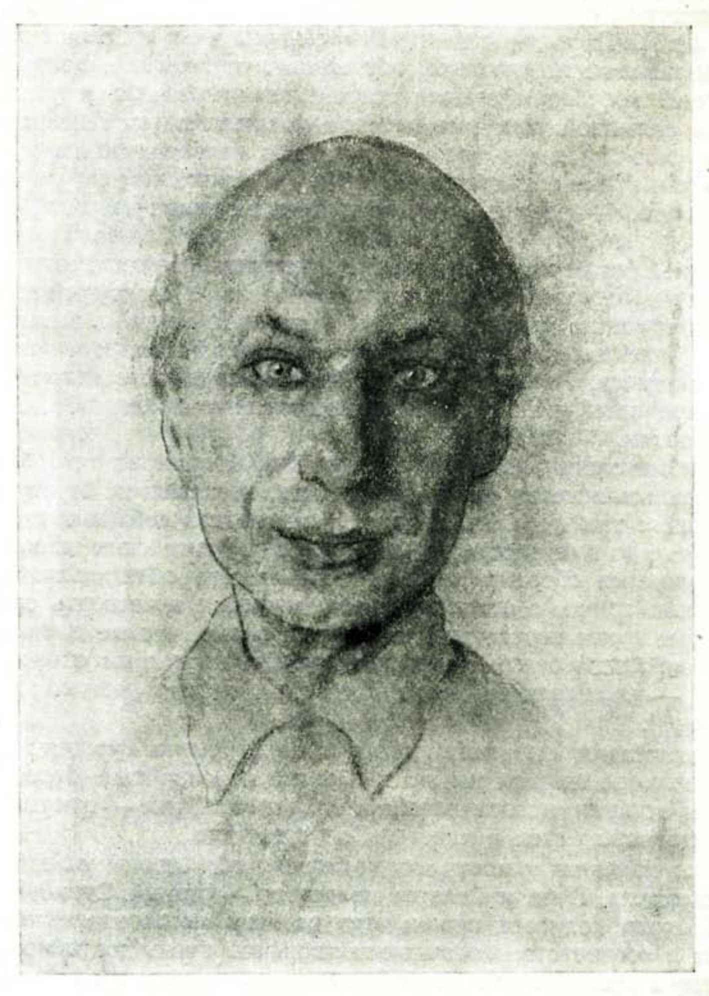
Ворота Подворья были забаррикадированы; около них появилось несколько великолепных краснокафтанных кавасов, вооруженных с ног до головы; чуть ли не возник дипломатический инцидент с протестами миссий, требованиями охраны иностранцев и т. д.; был день, когда последним грозил погром; в этот день с богомолья вернулась процессия мусульман со знаменами; узнавши о краже в мечети, она хотела устроить резню европейцев; эту процессию мы видели в момент ее выхода из Иерусалима; члены процессии, остановясь перед гробом богоматери, склонили знамена, пропевши какой-то гимн; Иерусалим остается мне в памяти центром антихристианской пропаганды; пропаганда — в показе грубых нравов неопрятного во всех отношениях греческого духовенства.

Сперва собирались мы совершить поездку на осликах к берегам Галилейского озера и ехать морем до Афин, чтобы через Константинополь вернуться в Одессу; но насмотревшись на нравы греческого духовенства, расстались с мыслью об этом «сантиментальном путешествии»; Иерусалим грубо ушибает верующих; вспомните, как здесь томился Гоголь; и мы решили вернуться в Одессу.

ДО ОДЕССЫ

Переезд Яффа—Одесса совершили мы на пароходе Русского пароходного общества; этот путь ничем не отметился в смысле встречи с людьми; все впечатления приносило море; мы получили удобную маленькую каютку, в которой мне хорошо заработалось; и к концу трехнедельного путешествия мой письменный столик вполне стал рабочим столом; за отдельную плату отвели нам на палубе два удобнейших шэз-лонга; и мы почти все время комфортабельно покоились в них, следя за линией берегов, сирийских и малоазиатских, и за панорамою островов Архипелага; погода стояла великолеп-

ная; веяло весенним теплом; и — по мере того, как мы поднимались на север,— все больше теплело; ни облачка: всю дорогу; ни качки, ни ветерка, ни дождя; глядя на ленту береговых панорам, развертывающих Палестину, Сирию, Малую Азию, мы совершенно бездумно подводили итоги нашему полугодовому странствию; мы говорили о том, что пятна путевых впечатлений и разгляд бытов переродил нас так, что только в годах скажется перерождение это; проблемы истории взволновали меня; я себя теперь осознал в душе очеркистом и путешественником.



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Портрет Н. Вышеславцева. Карандаш. 1933 г.
Литературный музей, Москва

Равнодушными сперва взглядами скользили мы по скучноватым, плоским берегам Палестины и Сирии; промелькнули издали апельсинники Кайфы, неизвестные европейцам, но знаменитые здесь (яффские апельсины ничто перед кайфскими); прочертилась линия европейских построек города Бейрута с монументальным зданием университета, устроенного американцами; поразили лесистые горы, увенчанные снегами в месте схождения Сирии с Малой Азией (Александретта, Мерсина); здесь открывалась железная дорога, идущая на Багдад.

От Мерсины пароход ушел в море; берега скрылись; на следующее утро я любовался старыми бастионами и могучими башнями острова Родоса, после которого морская линия горизонта изрезалась рядом причудливых островов, в полосу которых вступили мы и плыли в ней дня четыре или пять; то был Архипелаг; никогда не забуду я ряда каменных, фантастических очертаний, среди которых тихо скользили мы; вот остров — дракон, вытянувший свою пасть по направлению к морю; но мы оплываем его; через двадцать минут его контур меняется; он делается не драконом, а, например, великаном, башней, или контуром орла, льва и т. д.; исчезло открытое море, заполнившись десятками островов, разделенных узкими проливами; градация земель, пустынных, каменных, золотистых, обставала нас днем и ночью; сочетание вод легчайшей голубизны с золотоватонежными рельефами утесов погружало нас в сплошной сон; мне впервые предстал здесь генезис греческой мифологии, ибо я видел химер, драконов, вставшего из воды Посейдона, Атласа и прочих действующих лиц греческих мифов; я понял, что мифология греков — рассказ о причудливых земляных формах, торчавших из моря.

Пять дней отдавались мы сказке, созерцая метаморфозу контуров; а новые и новые острова намечалися с горизонта, в то время как те, которые проплывали мимо нас, становились фантазией, одетой в дымку, с противоположной стороны горизонта; даже не заметили мы, как мимо прошли очертания Патмоса, Лесбоса и других мест, связанных с историей Греции; я считаю, что пять дней, отданных впечатлениям Архипелага, были днями сплошной поэзии.

Мы приближались к Смирне, где должны были простоять больше дня; и уже собирались использовать день стоянки, съехавши на берег; но в город нас не пустили: там началась холера; вознаградили себя высадкой в Митиленах; пестрые до вычурности греки в красных фригийских шапочках, с чудовищно пышными сборами алых штанов вверху, обтягивающих нижнюю часть ног, как трико, с остроконечными туфлями в четверть аршина длины, — пестрые греки перевезли нас в город; белые, чистые домики, утопающие в зелени, кисти белых сиреней, падающих каскадами отовсюду, щебет птиц, смех, — удивительное место Митилены, летняя резиденция одесских греков богачей.

За Митиленами окрестности стали однообразно суровые; при входе в Мраморное море глядели мы на пустынные малоазийские берега, нащупывая глазами остатки исторической Трои; и вот уже — открылся веселый Босфор с пестротою стен и мечетей Золотого Рога.

Пароход причалил к мосту, соединявшему оба берега; на одном — европейские кварталы, Пера и Галата; на другом — старый Стамбул; мы здесь простояли около полутора суток; взяв на день высококвалифицированного проводника с соответственно высоким тарифом, очень достойного вида, мы отдались ему в руки; и не жалели об этом; в результате мы получили полное восприятие города в целом; даже в паузах, в остановках, во времени, отведенном нам проводником для еды, чувствовался вкус и уменье.

Я не стану описывать мечети Стамбула, стены его, семибашенный замок, мусульманское кладбище и «Сладкие Воды Европы», по которым совершили мы длинное путешествие в легком каике, с гулянием по зеленой, береговой мураве; все это описано и Лоти, и особенно Клодом Фаррером в его романе «Человек, который убил». Вторично описывать, значит дать худший, ненужный вариант классических образцов; и кроме того: после Кайруана, Тунисии, Египта и Палестины впечатления наши были притуплены; приезжего из Берлина, Парижа, Москвы может интересовать восточный стиль города; для нас этот стиль был только повтором; я отмечу лишь облик турецкой женщины, весело разгуливающей с подругами на зеленых

лугах, окаймляющих «Сладкие Воды Европы»; высокая, живоглазая, с почти открытым лицом, для вида лишь опушенным черным или кремовым кружевом у подбородка, чаще всего она мне встречалась в ярком желтокоричневом платье с золотистым отливом и с непременными пелеринками; и потом, характерны фигуры крутящихся константинопольских дервишей, длиннобородых, с важными лицами, в огромнейших, седых, барашковых колпаках; ими кишат улицы города; нас более интересовали военные из «младо-турок»; они окончили образование в парижском Сен-Сире, отличались изысканностью манер, прекрасной французскою речью, блестящим мундиром и предупредительной вежливостью по отношению к дамам, что, впрочем, не помешало впоследствии им совершать деяния, превосходящие жестокостью деяния баши-бузуков.

Галатою и Пера, признаться, пренебрегли мы; кварталы эти — плохие копии всякого европейского города; хваленый вид Босфора, разумеется, живописен; но по-моему и Неаполитанский и особенно Тунисский залив красотой и размахами берегов превосходят Босфор; хорош, правда, вид на далеко открывающиеся Принцевы острова; но мы были слишком утомлены всем, что ряд месяцев проходило перед глазами, чтобы теперь пристально взглядываться в предстающие прелести.

Словом, когда наш пароход плыл вдоль извилистых и покрытых виллами берегов Босфора, я мало вникал в красоту берегов, которые все сужались, сужались; справа и слева стояли орудия; дула их были направлены к русскому северу; вот последний, коленчатый поворот, и — Черное море, которое, действительно, показалось мне черным по сравнению со Средиземным; как полагается, — здесь стало покачивать нас; прокачало весь следующий день до темноты; когда же небо покрыли звезды, показался северный берег, густо усеянный огнями Одессы

. . . .

ВТОРАЯ ГЛАВА

ОПЯТЬ БОГОЛЮБЫ

Вот и подъехали к белому домику; на ступеньках ждал нас хохочущий во всю глотку, косматый и добродушный В. К. Кампиони в обстании своры борзых; с ним С. Н. Кампиони, с задором потряхивающая густой шапкой серых волос; Тани — нет; нет — Наташи; здесь, кстати сказать, в предыдущей главе упустил сообщить: вслед за нами Наташа уехала с Поццо в Италию, как Ася, с отказом от брака; после рассказывали, что Москва разделилась во мнениях; одни утверждали: декаденты бежали, похитив двух девочек (бедные девочки!); другие же твердили: «дрянные» девчонки-де загубили нам жизни; за утренним кофе мы это выслушивали; и узнали: у Наташи будет ребенок.

Первое впечатление от Боголюб — растворенье в природе; все вокруг расцветало с огромною пышностью; мне рощи казались чащами; шум мощных куп явно слышался вздохами моря; вставали картины только-что пережитого; и вспоминались слова старика капитана с «Arcadi'и», когда он со мною похаживал около борта, когда порывы ветров рвали ему бороду, а он, бросивши руку за борт, восклицал:

«Здесь под нами в большой глубине живут змеи-гиганты!»

Представьте же, вдруг получилась открытка; на ней же был штемпель «Гон-Конг»; мы забыли, что добрый старик в благодарность за полученный от Аси портрет его нам обещался прислать привет из Китая; и вот он пришел; мы припомнили, как офицеры готовились к тропикам, чистили белые кители, которые они должны были скоро надеть: «Вот как в Красное море войдем, замелькают летучие рыбы... Ну зачем вам Египет! Плывите-ка

с нами в Цейлон». И так живо пережилась мне «Arcadia» сызнова через четыре месяца после того, как мы покинули ее борт; «Arcadia» — образ безбытицы, образ пловучего, ставшего домом мне места; сегодня — здесь, завтра — там; я уже был безбытен, не подозревая всей степени реальности этой безбытицы; и не случайно, что тут же нас перевели в отдельный, только-что отстроенный домик, где я почувствовал, что нам с Асей прочного убежища уже нет; порывы ветра не спроста напомнили мне налеты валов, перескакивавших через борт и рассыпавшихся сафирно-лабрадоровой пеной.

Светлы, легки лазури...
Они черны — без дна;
Там — мировые бури.
Там жизни тишина:
Она, как ночь, темна.

В большом доме нам не было места (как и нигде его не было); наш домик стоял на проезжей дороге; мы ютились в двух комнатках; и — совершенно одни (с четырех сторон — поле); скирды отделяли от белого дома, прижатого к роще; мы украсили комнаты привезенною из Африки пестротою и многими шкурами вепрей и диких козлов; тут стояли кальянный прибор и курильница; я строчил путевые заметки, стараясь не помышлять о поездке в Москву, где меня уже ждали.

Я вернулся перерожденным; пережитое в Сицилии и Тунисе легло основанием чтения по истории африканских культур; краеведческие интересы вполне заменили мне интерес к философии; падала потребность в Москве, где предстояли сплошные конфликты; седые маститости криво смотрели на мой отъезд с Асей; попав в Боголюбы, не слишком-то я торопился отсюда.

. . . .

МОСКОВСКИЙ ЕГИПЕТ

Мои предчувствия оправдались; Москва встретила жабьей гримасой; начать хотя бы с внешнего: жар, пыль, раскатистый грохот пролеток; и тут же знакомый, мной где-то уж узнанный звук, угрожающий, с металлическим тяготящим оттенком; и... как, как — Каир?

Что Каир? Но вопрос повисал безответно; и только рыдала душа; так впервые она зарыдала... в Каире; а теперь зарыдала она в доме матери, ставшем мне домом пыток.

Появление в «Мусагет» показало: и он — место рабства; кто продал в неволю меня? Предстоял мне исход из Египта.

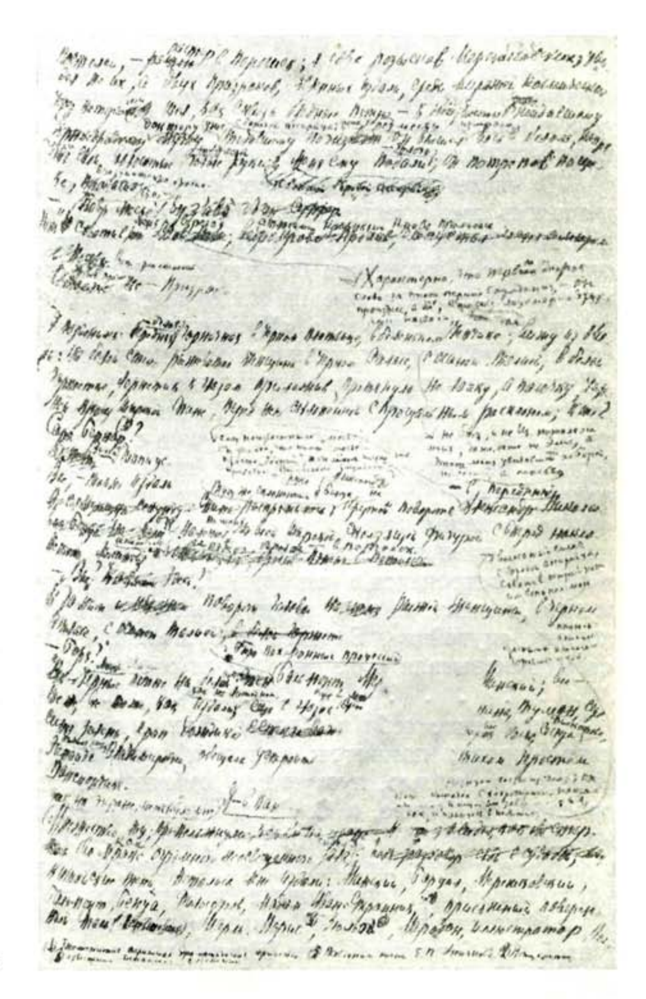
Здесь должен я вскрыть отношение к матери, страдавшей расстройством чувствительных нервов; объектом фантазии стала ей Ася, превращенная в интриганку, втершуюся между сыном и матерью; при подобной химере отрезывалась и возможность нам вместе жить; а мать того требовала; мое свидание с нею отразилось лишь шпильками по адресу Аси; я пробовал описать свои впечатления от Африки; но с дико блуждающим взглядом она не желала выслушивать; глаза становились пустыми, а рот был поджатый; поездка-де — стремление интриганки отбить сына у матери; и тут стало ясно: жить вместе нельзя.

И новые трудности: где достать денег, чтобы жить независимо? Я рассчитывал: «Мусагет» напечатает разошедшиеся мои сочинения. Но Метнер, раздув с раздражением ноздри, отрезал мне: «Следует зарабатывать новыми книгами», и так крикливо, так рабовладельчески, что никаких разговоров по существу не могло быть; стоило посмотреть на его налитые кровью глаза, на набухшие черепные жилы, чтобы это понять; когда же пытался я заговорить с другими членами редакции на эту тему, то едва отрываясь от шахмат, они небрежно выслушивали и возвращали к вопросам, уже дебатиро-

ванным полгода назад; они не сдвинулись с места; и характерно: кресла редакторского зеленого кабинетика съела моль.

В «Мусагете» денег нельзя было достать; а мать отказала в своих; верней, что в — моих (юридически она имела право лишь на $^{1}/_{7}$ денег, которыми пользовалась); я же просил заимообразно лишь тысячу рублей; но меня обвинили в захватнических тенденциях; и я ходил, как ободранный, слоняясь из квартиры в квартиру без всякого прока; и тут внимание мое останавливалось на как будто бы где-то уже пережитых объектах; я подолгу замирал между двух подъездных дверей, иль на площадках лестниц, вперяясь с четвертого этажа в межперильный провал, откуда с урчанием снизу вверх пробегал лифт, мчась, точно в неизмеримость; я бесцельно рассматривал глянцевитые кафели стен, силясь что-то припомнить; и мне представлялись глянцевитые кафели египетских облицовок; проходящие по лестнице неизвестные люди представлялись фигурками птицеголовых иль крокодилоголовых людей, подобными египетскому человечку с жезлом, выступавшему на полубарельефах могил, мне вытарчивавших из песку в час полудня; Египет, пережитой в Африке, настигал на Арбате в полуденный час.

Но совсем изумило меня то, чем повеяло от состоявшегося по настоянию мамы свиданья с ее поверенным, И. А. Кистяковским; от имени мамы он ссужал таки меня тысячею рублей для устройства нашего хозяйства; помню,



СТРАНИЦА РУКОПИСИ МЕМУАРОВ АНДРЕЯ БЕЛОГО «МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ», 1932 г.

Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

как я осиливал лестницу, выложенную блестящими кафелями; помню, как сидел перед одутловатым, бледным лицом и совершенно пустыми глазами, подымавшимися из кресел навстречу; лицо было подобно лицу резной египетской куклы, мной виданной в Булакском музее (в роде известной фигуры шейха с жезлом в руке); я вздрогнул невольно: в уме пронеслось: опять Египет! И встала картина пустых пустынь; этот мертвенный, белосерый, грифельный колорит песков с кружащими над ними прямокрылыми коршунами так четко пережился в массивном кресле из носорожьей кожи.

Да, в Москве повторялся Египет — десятикратно; но в этих повторах будто мне перeродилась Москва; в ней проявилось, вероятно, давно проступавшее, но мной не увиденное, незнакомое пока начало; я поздней осознал, чем меня удивила Москва; удивила впервые в ней наметившимся кубизмом (только потом встали бетонные здания с упрощенными контурами); уж в Италии поднял шум Маринетти; а в Москве выходила первая книжка, принадлежавшая творчеству футуристов, — «Садок судей», в которой встретились братья Бурлюки с молодым Маяковским; футуристическая Москва кубистическими разворотами новых фантазий слагала эпоху, которая слышалась так, как порою слышится дождь из-под набегающего облака; эта новая Москва, предвоенная, Москва первых годов революции, Москва будущих броневиков, разбитых пакгаузов и т. д., связалась мне с только-что потрясшими меня переживаниями Египта, которые я никак не мог оформить еще, но которые всюду сопровождали меня.

Вообще я ощущал напор новых восприятий, не вмещавшихся в слово; отсюда косноязычие, немота и чувство почти стыда и преступности, оттого что я вынужден был утаивать в себе новое; точно я в Африке заразился какой-то болезнью и вынужден ее молча нести в себе.

В числе меня удививших сюрпризов я должен отметить: мне свежее дышалось среди деятелей «Пути», чем средь соратников по оружию мусагетцев; проблема культуры, которой задирижировал Метнер, требуя от нас статей в его духе, мне опостылела именно потому, что проблема эта конкретно заговорила мне на материале моих африканских раздумий; я опирался на живой опыт; в «Мусагете» же мне предлагалась абстракция; и я, естественно, льнул к живым людям, непредвзято ко мне подходившим; вокруг «Пути» сгруппировались несколько человек, с которыми связывало меня прошлое; я был тесно связан с Рачинским; нас соединяла память о покойной чете Соловьевых; в те годы я дружил с Морозовой и с близким ей Е. Н. Трубецким, не говоря о Гершензоне, коренном «путейце»; этот стал мне советчиком, другом, сердечно вникающим во все мои жизненные дела; идеология «Пути» в целом была мне столь же чужда, как и идеология «Мусагета»; но ничто не приневоливало меня действовать с «путейцами» в плане культуры; я с ними встречался в час отдыха, попросту; это способствовало моему сближению с ними теперь, когда я наткнулся на «Мусагет»; наконец, два основных «путейца», Бердяев и Булгаков, ставшие ценителями моего искусства, выказывали в те дни знаки особого внимания ко мне.

. . . .

Ощущение себя в Москве было чувством безбытности, бродов, отсутствия крова; помнится: часто я заночевывал в «Мусагете», в зеленом, изъеденном молью, пустующем кабинетике, где останавливались В. Иванов, проездом в Москве, и С. Гессен, периодически наезжавший для составления номеров «Логоса»; Дмитрий, служитель, для этих ночевок имел и белье, приносимое мне; неприятности с матерью часто меня выгоняли из дома; когда исчезали сотрудники и оставалися секретарь, Кожебаткин, и В. Ф. Ахрамович, то в «Мусагете» шла своя жизнь; появлялись вечерние гости: Б. А. Садовской, или Шпетт, уволакивавший всех с собой в ресторан «Прагу»; Г. Г. Шпетт с «логосовцами» не дружил; в пику им заводил сепа-

ратные отношения с коньячною фракцией он «Мусагета», которую возглавлял Кожебаткин; беспроко стучали мне в уши события мусагетского бытика, не имевшего никакого касания до идей «Мусагета».

. . . .

Иногда засиживался я у А. М. Кожебаткина, насильственно им приобщаемый к коньячку, на который, как мухи, слетались молодые художники.

. . . .

В этих посидах я предавался, отсутствуя, странным фантазиям; я припоминал, чем специфическим мне отразилися ощущенья Египта; не смейтеся, — *мне вспоминались кофейные зерна; когда жарят их, распространяется своеобразнейший запах; я мысленно раздроблял меж зубами кофейные зерна; я вникал в запах их, и особенно в жареный вкус их во рту, переживая жару, духоту, напёк солнца; мне чудилось что-то синее, подобное синей одежде феллашки коричневой; что-то вставало мне от мулаток в тяжелых запястьях; и — да простят мне аналогию ощущения — я вспоминал цвет Египта и запах Египта.

Пребыванье в Москве оставило во мне неприятнейшее впечатленье, мной не скоро осознавшееся в те времена и доходившее порою до вспышек таимого бешенства от восприятия только-что близких людей просто рожами; такою, если хотите, «рожею» стал Метнер, недавно еще—близкий друг.

Перерождению наших внутренних отношений вполне соответствует и изменение для меня его внешнего облика; помню прекрасно: весной 1909 года простился я с любящим, верящим мне, тонко отзывчивым другом; летом стрясся над Эллисом музейский инцидент, так разбивший меня; тотчас же вслед за ним последовала телеграмма от Метнера: «Есть возможность начать свое дело!» Я, было, хотел отказаться; но Петровский подбил меня к организации «Мусагета»; осенью Метнер-редактор явился в Москву; но я так и ахнул.

Явился он бритым; надменное, вспыхивающее беспричинною злостью лицо его, как разрывалось; но маска спокойствия стягивала в гримасу его; оно вытвердилось нездорово; сузились, потускнели недавно живые глаза, производившие впечатление голубых; они стали маленькими и налитыми кровью; не знаю с чего вдруг надулися ноздри, а губы решительно стиснулись; лоб с налитыми височными жилами стал точно бычий; и подчеркнулись напруженные, черепные шишки. Не Эмилий Карлович Метнер, а... минотавр.

. . . .

Увидев его, понял, что что-то погибло меж нами в минуту, когда осуществилась заветная мысль и моя, и его об издательстве. Но долго не понимал я причин, исказивших десятилетнюю дружбу. И подумал, что оскорбил его своим правдивым письмом, ему писанным из Радеса.

Теперь, продумывая в который раз пережитое в то время, мне все стало ясно; было много причин, подававших поводы к ссоре.

Так, пребывание в мае 1911 года в Москве есть уже состоявшийся разрыв с «Мусагетом»; но сознание этого было столь тяжело, что я, стиснувши зубы, недообъяснившись, все бросив в Москве, бежал в Боголюбы.

К счастью, в те дни не осознавал я и десятой доли того, что происходило со мною; если бы осознал, вряд ли нашел в себе мужество продолжать жить так, как жил; понял бы я, что меня разбивает тяжесть моей трезвости и совершенной конкретности; меня давил быт, впервые увиденный во всех мелочах; до сей поры я над ужасом быта скользил; материальная стиснутость, зависимость от каких-нибудь нескольких сотен рублей, теперь впервые раскрыла мне безвыходность моего положения: не иметь возможности обеспечить Асю элементарными жизненными удобствами и видеть всю ее беспомощность в тех условиях, которые мог я ей предоставить; будь у нее *пламенная любовь ко мне и решимость бороться за нашу жизнь*, все это

пережилось бы иначе; но теперь вижу, что у нее не было никаких стимулов отстаивать нашу жизнь; она пассивно как бы ждала, что все сложится само собой; менее всего сознавала она, что для этого нужен и с ее стороны какой-то творческий импульс; я со всей трезвостью видел ее несознательность в этом смысле; эта трезвость была для меня раздавливающим меня молотом; я видел: то, что готовится нам в ближайшие месяцы — ад, мука, бессмыслица; и весь был вперен в созерцанье чудовища, которому имя «быт»; главное, — я был заперт в себя, потому что ни с кем не мог поделиться сущностью моих страхов; и невольно, бездомно шатаяся по Москве, переживал субъективнейше все, к чему прикасался; переплавлялось как бы самое существо моих восприятий; пустяшнейшее впечатление отлагалось в вовсе новое качество; все мелочи стали выглядеть страшным оскалом; отовсюду вытягивались вместо знакомых, даже друзей, лишь неведомые прежде уроды, от которых я вынужден был защищаться и о которых не мог никому ничего я поведать; мое сознание уподоблялось прижизненно умершему, сошедшему в царство теней и утратившему самую способность объясняться с зловещими, его обступившими ликами; я жил в обстании чудовищных образов, люто вгрызавшихся в меня; в тех мучениях, которым не было имени, переплавлялась самая субстанция переживаний моих; но глядя из будущего, я мог бы в те дни впервые сказать себе, что самопознание точно раскаленными щипцами изрывало мое существо; до того рокового лета жил, был, мыслил некто, которого называли Борис Николаевич Бугаев, одевшийся в некий призрачный кокон, называемый Андреем Белым; но вдруг этот Белый вспыхнул в процессе самовозгорания, суть которого была непонятна ему; от Белого ничего не осталось; Борис же Бугаев оказался погруженным в каталепсию, подобную смерти; он умер; и ел, спал, двигался наподобие мумии; в себе самом слышал он отдаленные отзвуки некой жизни, к которой возможен пробуд; но — как пробудиться? Во всяком случае не Ася пробуживала; она сама была, как во сне; жила мумией. Таково, приблизительно, было мое состоянье сознания, когда я тронулся из Москвы к ней.

Пустынный шар в пустой пустыне,
Как дьявола раздумие,
Висел всегда, висит поныне
Безумие, безумие.

Нет, нет, — стояние на пирамиде, вперенье в пески пустынь продолжалось еще; и никакие, казалось, силы не могли развеять это оцепененье.
. . . .

В Боголюбах ждало меня письмо Блока, с которым я деятельно переписывался из Африки, как о том упоминает тетка Блока, Бекетова: «С североафриканского побережья, куда уехал... Борис Николаевич, Александр Александрович стал получать частые и длинные письма». Первую неделю я только радовался своему возвращенью на лоно природы; мотыльковые цветики пестрили мне дни; желторой курослепов уже откачался на мае; заизумрудил ночами, в днях серый, мизерный Иванов жучок; многодревые чащи качались; тянулись к востоку закатные проясни, не угасая, переходя в лучезарное утро; тихоглавые липы сквозили жарищею синей у домика; мы шутливо дружили с В. К. Кампиони, который все-то поддразнивал нас: «У, у, декаденты паршивые» — будто обругивал, а выходило пренежно; иль с крыльца, приложив руку ко рту, зычным басом кидался в пространство, стараясь казаться свирепым; но прислушивался к тому, чем мы жили; шутливый смешок соединялся в нем с искренним уважением к нам; под грубостью прятал тончайшую душу и никому не мешал; во мне вызывал алогично он образ седого и добродушного старика капитана с «Arcadia», руку бросавшего с борта в просторы ветров; и просторы Волынской губернии, ветром хле-

РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО К РОМАНУ «МАСКИ, 1929 г.
Собрание К. Н. Бугаевой, Москва



ставшие в нас, напоминали мне простор моря, безбытицу, нас уносившую некогда от всего, нам известного; так же дружил я с С. Н. Кампиони; и мне были близки неустрашавшие и веселые порывы ее; боголюбское общество: Кампиони, его помощник, похожий на Балтрушайтиса, сестры Аси — Наташа и Таня, Наташин муж, Поццо, скоро присоединившийся к нам из Москвы, брат сестер Миша, Аришенька — няня, да наезжающие из волости гости, соединявшиеся уютными вечерами в том домике, куда сходились: обедать и ужинать; возвращавшийся к вечеру после объезда лесов, иль с охоты В. К., опершися локтями на стол, присаживался за шахматы к Асе, разглаживая кудрявую бороду.

Лето это казалось значительным нам; мы вынашивали возможности снова бежать за границу, чтобы мне писать новый роман, чтобы Асе кончать курс гравюры в Брюсселе у старика Данса; я уже застрачивал «Путевые заметки»; жили мы ожиданием чего-то большого, придвинутого вплотную; я позднее, из Швейцарии, вспоминал это время в написанном фельетоне «Гремящая тишина»; Боголюбы, Луцк, Торчино, ведь, попали в громовую полосу русско-австрийского фронта; летом 1911 года на окраине города расквартировали гусар, звенящих саблями, шпорами и кричащих кровавого цвета рейтузами; с появлением их потянулись военные слухи, и какое-то беспокойство охватывало на прогулках в полях; я, Наташа и Ася прислушивались к дальним рокотам, напоминающим гром, иль гременье телеги по выбитой и пылявой дороге.

— «Ты слышишь?»

— «Слышишь?»

— «Да, гремит».

Гром? Безоблачно небо. Орудия? Но — откуда? Телега поехала по дороге?.. Дорога пустая, протянута вдаль. Нет источника грохота, а — погромыхивает; слышу — я, слышит Ася; Наташа вслушивается средь порхающих

васильков созревавшей пшеницы; вот — грохнуло; обрывается наш разговор; мы молчим: ру-ру-ру.

— «Слышишь?»

— «Да, да, погромыхивает».

Что это было?

От этих вот рощ листоплясом подымется ветер; и ясногорий закат объясняет пространство под облаком; он разгасится венцами перстов; и начинаются замерки; возвращалися с поля, прислушиваясь к полету времен; фыркают лошади; и мчится в ночное мальчишка верхом, растопырившись пятками и бросаясь локтями: гоп, гоп мимо нас. И — вновь грохнуло.

Раз уже в сумерках шли мы домой; синесерая дымка июльского вечера стлалась; вот на приступочке белого домика видим сидит загорелый, кудластый лесничий, сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас:

— «Вот, ведь, — чорт: подъезжает телега; гремит колесом; выйду я, жду-пожду — никого... а — гремит! Что за чорт?»

— «Мы давно это слышим».

— «Вы слышите?»

— «Что там?»

— «Гремит...»

И В. К. Кампиони, полусконфуженный и рассерженный, только разводит руками; и плюнув, — уходит с крыльца.

Я описываю восприятия эти, нас волновавшие в мирных волынских полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться; ведь, домик лесничего и большой, через год лишь отстроенный дом, — все разрушено было: австрийскими пушками (погибли и книги мои и коллекции африканских безделиц); здесь длились бои.

И общее впечатление этого лета: гремящая тишина; тишина — зрела «грóмами»: упадающей эры; «гремело» не здесь, а над миром; грохот — слышали; вот стихотворение, написанное мной в эти дни:

И опять, и опять, и опять —
Пламенея, гудят небеса...
И опять, и опять, и опять —
Меченосцев седых голоса.

Грохотала бедами атмосфера России.

К августу я вплотную вошел в «Путевые заметки»; утра, вечера я согбенно сидел над столом, обалдевший, не выходя на прогулки и имея объектом все ту же оцепеневшую Асю, лежавшую передо мной на диване и покрывавшую себя клубом дыма; и как бывает: когда в думах, забывшись, вперяешься в то же стенное пятно, изучая его машинально, выступают в нем образы, ассоциируемые с работой; и так образ Аси передо мной разрастался, примышляясь невольно к работе; мы встретились в годы, когда моя жизнь мне казалась разбитой; я думал о смерти; и вот глядя на Асю — подумалось: лучшее, что могу, это—блюсти ее жизнь, служить ей поддержкой; и дружба росла оттого, что Ася могла на меня опираться; отсюда и бегство с ней; я утешался иллюзией: в умении стать ей опорой я обретал смысл всей жизни; он рос до ощущения почти роковой пригвожденности; и приходилось жить чувством рока; других надежд не было; читал ее облик я несколько лет; и различно прочитывал, умаляя и — переоценивая.

. . . .

Это роковое для меня по последствиям лето скрасилось мне первым сближением с матерью сестер Тургеневых, С. Н. Кампиони; она выступила передо мной не как теща, а скорее, как старшая сестра; с дочерьми она находилась в чисто товарищеских отношениях; мы с нею шутили, что она «вот уж не теща!» Она вносила в наши планы много веселой чепухи, экстравагантности, способной «вот уж не распутать», а скорее окончательно все

перепутать; вообще, старшая пара этого сумбурного, гостеприимного дома,— почтенный лесничий-меньшевик, горлан, собаковод и супруга его, вросла дружно в сознание мое и А. М. Поццо; и мы, перед безрадостным отъездом в Москву с думами о дальнейшем устройстве, не без азарта и вызова отпраздновали наше вступление в предстоящую жизнь; нам с Асей нужно было отыскать себе зимнее помещение под Москвой; Наташа с Поццо предстояло найти квартиру; у Наташи ожидался ребенок в конце октября; обе пары не имели денег; оставалось этот тяжелый период брать на ура.

Я ведь не сознавал еще всей степени трагизма своего положения; когда мы, год назад, замышляли наши бегства из Москвы, для меня не виделось ясно будущее; возвращение из-за границы впервые показало действительность: я ощутил себя проданным в рабство — не какому-либо отдельному московскому кружку, а русской буржуазии в ее целом; но социальная сторона моего томления была мне закрыта, а между тем я должен был бы себя сравнить с Артуром Рэмбо, некогда новатором в искусстве, революционером формы, пламенным коммунаром 71 г., в тот период, когда реставрационные тенденции буржуазии заставили-таки и его от свободнейших утопий перейти к... исканию золота; золота прежде всего, чтобы жить; и вот он «уходит на жестокую, бесплодную борьбу за золото, которое... ищет на Кипре, в глубине Абиссинии... — за золото, которое... наконец находит незадолго до своей смерти»; так же судьбы недавно передового русского искусства отныне попадали в лапы крепнущей русской буржуазии.

В предисловии к книге Ж. М. Карре «Жизнь и приключения Жана-Артура Рэмбо» стоит: «Артур Рэмбо один из «проклятых поэтов», которыми гордится французская поэзия. Но в проклятии, тяготевшем над ним, нет ничего «божественного», ...ничего личного. Это было проклятием времени, в котором он жил».

Проклятием нашего времени была испакощенность казавшегося незадолго пред тем еще творчески свободным искусства; с 1908—10 года упали иллюзии; лапа капитализма легла на те сферы, в которых работали мы; итог впечатлений, привезенный мной из-за границы, — кризис жизни, культуры, сознания буржуазной Европы, которой Россия была неотъемлемой частью, — подтверждал мои домыслы, обостряя мне зрение невероятно; естественно, что вернувшись из путешествия, я не узнал той России, из которой выехал; не узнал, потому что до путешествия я Россию не видел такой (а она уже стала т а к о й); этот привкус мне открывшегося теперь впервые и пережил я, как нечто, глубоко враждебное мне; отныне я обречен был встречать не «близких знакомых», а социальных врагов, поработителей моей свободы; так оно и было; процесс социального осознания длился до революции, во время и после нее; он был источником моего скоро начавшегося разрыва со всем прежним кругом.

Особенно трудно было мне спускаться в мою преисподнюю в силу того, что я не сознавал еще, что не какой-нибудь тот или другой «кружок» или «салон» мне враждебен, а все, все эти салоны и «тоны» — части моей тюрьмы; это скоро сказалось, когда в поисках тысячи рублей я должен был проделывать невероятные усилия; а почтенные люди со всех сторон просовывали нос в проблему той «тысячи», чтобы не выпустить меня с нею за границу; все эти люди московского общества поняли инстинктивно: Андрею Белому надо добыть себе денег, чтобы бежать из их власти; он таки — добыл, и — вырвался; через год буржуазная Москва преисполнилась негодования: Андрей Белый изменил себе, изменил искусству и отдается каким-то дурацким фантазиям, вместо того, чтобы быть с нами. Прошу заметить, что в это время Андрей Белый напряженно работал над лучшей в ту пору для него книгой, которой в Москве ему не давали писать.

Доживая последние дни в Боголюбах, я готовился ехать в Москву, чтобы в ней натыкаться на неизбывные трудности; я чувствовал себя обраставшим

как бы отложеньями тяжести, которые я не мог приподнять к поверхности жизни; я потерял способность объясняться с людьми; это была реакция на ряд для меня огромных узнаний, которые все менее влагалися в слово; пережитое за последние два года оказалось более значительным, чем я мог это предполагать; при объяснении с людьми я находил свою точку зрения бесконечно удаленной от их точек зрения; вокруг меня росла пустота; в силу косноязычия я был обречен медленно выдавливаться из привычек, быта и круга интересов людей, с которыми я прежде водился; трудность моя усугублялась тем, что я лишь поздней осенью осознал истинные корни моей немоты: я выпадал, так сказать, из всех форм быта буржуазной культуры; а культуры, которую я мог бы противопоставить ей, у меня не было; интерес к Востоку, будирование европейской цивилизации — это был беспомощный вызов по отношению к тому, что должен бы я предпринять; в сущности волил я революции быта, революции сознания, которая развертывается лишь по мере того, как углубляется революция социальных отношений; последней не было; и я обречен был погрязать в своих безъязычных состояниях, мучиться ими, быть недовольным; и — только.

. . . .

Никогда не забуду того серенького, холодного дня, когда мы с Брянского вокзала прогрохотали с сундуками и картонками в Никольский переулок, дом Новикова: в квартиру матери; и вот что́ нас встретило: в переднюю вышла высокая, бледная, с безразличным лицом тетя Катя и недоумевающе посмотрела на нас: «Вы? А — Саши нет. И я не знаю, как... право...»

Тут читатель воскликнет: тетя Катя! Какая такая? Ни в «На рубеже», ни в «Начале века», ни в «Между двух революций» нет никакой тети Кати; откуда взялась? Кто́ она? Читатель, она — т о с а м о е; во-первых, — тетя моя, и во-вторых, — тетя, проживавшая у нас в квартире и зорко следившая за мной и событиями моей биографии, описанными в первой части настоящей книги; а что о ней не удосужился я сказать, так в том не моя вина, а свойства ее жизненных выявлений: быть невидимой, неописуемой, подобно тончайшей пылевой слойке, ежедневно ввеваемой в комнату из открытой форточки и обратно вывеваемой в мировые пространства воздушного купола; я мог бы десятки лет описывать происшествия нашего дома, лиц, в нем бывающих, и не зацепиться за тетю Катю; ибо она поступает так, как «вообще» поступают, говорит так, как «вообще» говорят («Днем светло, ночью темно» и т. п.); и никогда, ничем не остановит внимание; в ней — «отсутствие всякого присутствия» чего-нибудь индивидуального; она проявляет себя даже не как «тетя вообще», а как «родственницы вообще», и того менее; этот дар ее к небытию сильно окрашивал воздух нашей квартиры какими-то ощутимыми едва ль не мистически — да простят мне! — тонами, вызывая непроизвольный вздрог жути; я однажды изобразил ее в моей первой «Московской симфонии», в сцене прихода к философу, зачитавшемуся Канта, родственницы в черном платье, которая угашенным голосом перечисляет ему печальные обстоятельства своей жизни: смерть сына, свое одиночество, после чего философ с ужасом садится на пол, а автор в ужасе восклицает: «...все кончено для человека, севшего на пол!» И потом изобразил ее в «Котике Летаеве» под видом заводящейся в межкресельной пыли «тети-Доти»: капелька из рукомойника капает что-то-те-ти-до-ти-но.

Почему же я осенью 1911 года, вступив в нашу квартиру, зацепился за тетю Дотю, — виноват, — за тетю Катю? Да потому, что в минуты величайшей пустоты и серости веяло мне «что-то-те-ти-до-ти-но».

В своем роде тетя Катя — явление замечательное; и раз она выскочила на поверхность воспоминаний, нельзя не посвятить ей несколько слов, тем более что она проходит невидимо по всем четырем томам.

Тетя Катя переселилась к нам после смерти бабушки; и с той поры

неукоснительно сопровождала все события жизни квартиры, которыми сильно интересовалась она, без того чтобы кто-нибудь мог это заметить; ибо, как сказано, сама она была незаметна; тетя Катя множество лет служила на службе сборов; со службы являлась в 4-м часу и без единого слова проходила в свою унылую комнату с пуком бумаг, который раскладывала перед собой на столе; пук этот составляли пустые листы бесконечной «ведомости», которую заполняла она, вставляя изредка палочку в клеточку; эти палочки в клеточках — предмет десятилетнего моего созерцания; этим занятием заполняла она пустые часы с половины четвертого до поздней ночи, отрываясь к обеду и вечернему чаю; появлялась с заспанным лицом; и молча отсиживала; разговаривала она вообще мало, а при маме в особенности, потому что единственным содержанием ее сообщений была мама:

— «Саша поехала в Крым... У Саши в Крыму вскочил прыщик... Саша пишет, что скоро вернется в Москву...»

Мама, бывало, ей иронически:

— «Что ты все обо мне... Ты бы о себе рассказала» — или «Это я так думаю, а не ты».

В ответ на это раздавалось:

— «И я так же думаю».

— «Думаешь то же, что я. У тебя нет своих мыслей».

Так сестры пикировались чуть ли не ежедневно.

Но вот странность: у каждого человека на письменном столе поставлено изображение кого-нибудь близкого; у тети Кати за всю жизнь я не видел такого изображения; на столе тети Кати стоял большой собственный портрет тети Кати; перед ним сидела она и на него глядела она; портрет изображал тетю Катю в зрелом возрасте, когда мелковатые, мягконезначительные черты ее, уж ствердясь, ссохнувшись, приобрели жесткий вид; точно она, прихмурившись, из портрета грозилась на всякого мало-мальски веселого



РИСУНОК АНДРЕЯ БЕЛОГО
К РОМАНУ «МАСКИ», 1929 г.
Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

человека: «Я вот, ух, тебя как!» Тетя Катя никогда никого не любила; в молодости на всякую попытку к ухаживанью она отвечала исступленным фырканьем, напоминавшим фырканье неприятной индюшки; и тетя Катя терпеть не могла все, что отзывалось сердечным увлечением; стоило кому-нибудь в кого-нибудь влюбиться, как этот кто-нибудь делался предметом ненависти тети Кати; само собой разумеется, наш отъезд с Асей в Африку был источником бурного, но таимого негодованья ее; неприязни свои выявляла она не открыто, а, так сказать, исподтишка; она любила, притаясь в своей комнате, например, ненужно напугивать дочь нашей горничной, белокурую девчурочку пяти-шести лет, к которой питала слабость мама; та, бывало, бежит мимо открытой двери, против которой тетя Катя ставит свои палочки в клеточки; из открытой же двери яростный шопот: «Я тебя, у... у... у!». И рев девчушки.

. . . .

Не требует объяснения тот факт, что она глубоко возненавидела Асю, хотя бы за то, что последняя была мне дорога; и разумеется, эту ненависть она ни в чем не высказывала; она только не упустила случая доставить нам неприятность, когда мы, влетев с вещами в переднюю, на нее наткнулись в отсутствие мамы; мама только и мечтала о том, чтобы мы с Асей жили у нее (что она не любила Асю, это дело другое); и о запрете ее остановиться нам с дороги в ее квартире не могло быть и речи; но тетя Катя — дело иное; в духе ее, тетекатиных ужасиков (все ее действия — ужасики!) было тут-то и сделать нам подковырку; появление нас с Брянского вокзала в Никольском переулке в тот неприятный, серый денек живет в моей памяти, как сиротливый укол; нам оставалось тотчас же, схватив вещи, броситься в меблированные комнаты (Троицкой на Тверском бульваре); и в ответ на изумление матери, что мы миновали ее, ссылаться на уже совершившийся факт.

. . . .

Через месяц мы с Асей остались одни в сырых октябрьских туманах, роящихся над Расторгуевым; здесь Ася вновь впала в оцепенение, напоминавшее транс, вгрызаясь в книгу Блаватской: «Из пещер и дебрей Индостана»; а я провалился в лейтмотив романа «Петербург», теперь официально заказанного мне Петром Струве для «Русской Мысли».

В Расторгуево попали мы благодаря хлопотам К. П. Христофоровой, ведшей переговоры со своими друзьями, какими-то Депре, которые и дали согласие на то, чтобы мы сняли их дачу, уверяя, что она — зимняя; в конце сентября — начале октября трудно себе было представить более уютный уголок; три тихих комнаты, правда, со слишком уж легкими, летними креслами, давали простор для зáдуми; мы обзавелись расторопной прислугою, Сашей, дровами и всем, что необходимо для зимнего времени; дни начинали мелькать; раз в неделю к крыльцу подъезжала пролетка за мною, отвезти меня на станцию, чтобы к последнему вечернему московскому поезду ждать меня и везти обратно по перелескам, травным лугам; было уютно в вечерних туманах катиться домой, видеть издали огонек, и знать, что тебя ждет ужин, Ася, и тихие разговоры, в которых я изливал свои московские, надо сказать, невеселые впечатления; Ася с сонной ленцой отказывалась бывать в городе; в Расторгуеве на нее нашел стих ходить в моих коротких тунисских штанах и выглядеть настоящим мальчишкой, с тою однако разницей, что лицом на мальчишку ни капли не походила она; стиснутые брови и пристальный взгляд, вперяемый сквозь меня куда-то в неизмеримые дали, подсказывали мне, что в ней углубляется тот же, мною не раз подмечаемый, транс, заставлявший меня вздрагивать и ожидать печальных и роковых событий, которые она словно выколдовывала из хаоса жизни; менее всего она жила «нашей» жизнью; вот уж ни капли не силилась создать ее; и пре-

доставляла мне свободу думать о ней, что угодно; но и я в эти дни менее всего думал о ней; ко мне подкрадывалась тема романа, который предстояло мне, так сказать, осадить из воздуха.

. . . .

Его я замыслил, как вторую часть романа «Серебряный голубь», под названием «Путники»; об этом-то и был разговор у нас со Струве; при подписании договора не упоминалось о том, чтобы представленная мною рукопись проходила цензуру Струве; Булгаков и Бердяев, поклонники «Серебряного голубя», настолько выдвинули перед Струве достоинства романа, что не могло быть и речи о том, что продолжение может быть забраковано; мне было дано три месяца: октябрь, ноябрь, декабрь — для написания 12-ти печатных листов, за которые я должен был получить аванс в 1000 р.; на эти деньги мы с Асей предполагали поехать в Брюссель; мой план отрыва от Москвы получал «вещественное оформление»; роман во всех смыслах меня выручал; последние переговоры о мелочах я вел с Брюсовым, ставшим руководителем художественного отдела в «Русской Мысли»; он пригласил нас с Асей к себе на Мещанскую и угостил великолепным обедом с дорогим вином; наливая нам по бокалу, он с милой язвительностью проворкотал гортанно, дернувшись своею кривою улыбкою:

— «Русская Мысль» — журнал бедный, и мы вынуждены непременно кого-нибудь поприжать. Борис Николаевич, вы — бессеребренник, святой человек. Ну право, на что вам деньги! Так что прижмем мы уж — вас».

Тут выяснилось, что плату за печатный лист мне положили неприлично малой (чуть ли не 75 р.); помню этот мрачный обед, колкие любезности Брюсова и фигурку Аси, напоминающую палочку; она была в своем зловещем черном платье и так невесело улыбалась сквозь злость, что мне делалось не по себе; вообще она вызывала во мне в этот период жалость до слез; в сожалении, главным образом, изживалась тогда моя любовь к ней.

Обед у Брюсова — преддверие к долгим осенним ночам, во время которых я всматривался в образы, роившиеся передо мной; из-под них мне медленно вызревал центральный образ «Петербурга»; он вспыхнул во мне так неожиданно странно, что мне придется остановиться на этом, ибо впервые тогда мне осозналось рождение сюжета из звука.

Я обдумывал, как продолжить вторую часть романа «Серебряный голубь»; по моему замыслу она должна была начинаться так: после убийства Дарьяльского, столяр, Кудеяров, исчезает; но письмо Дарьяльского к Кате, написанное перед убийством, очень замысловатыми путями таки попадает к ней; оно — повод к поискам исчезнувшего; за эти поиски берется дядя Кати, Тотраббеграаббен; он едет в Петербург посоветоваться со своим другом, сенатором Аблеуховым; вторая часть должна была открыться петербургским эпизодом, встречей сенаторов; так по замыслу уткнулся я в необходимость дать характеристику сенатора Аблеухова; я вглядывался в фигуру сенатора, которая была мне не ясна, и в его окружающий фон; но — тщетно; вместо фигуры и фона нечто трудно определимое: ни цвет, ни звук; и чувствовалось, что образ должен зажечься из каких-то смутных звучаний; вдруг я услышал звук как бы на «у»; этот звук проходит по всему пространству романа: «Этой ноты на «у» вы не слышали? Я ее слышал» (Пет[ербург]); так же внезапно к ноте на «у» присоединился внятный мотив оперы Чайковского «Пиковая дама», изображающий Зимнюю Канавку; и тотчас же вспыхнула передо мною картина Невы с перегибом Зимней Канавки; тусклая лунная, голубовато-серебристая ночь и квадрат черной кареты с красным фонарьком; я как бы мысленно побежал за каретой, стараясь подсмотреть сидящего в ней; карета остановилась перед желтым домом сенатора точно таким, какой изображен в «Петербурге»; из кареты ж выскочила фигурка сенатора, совершенно такая, какой я зарисовал в романе ее; я ничего не

выдумывал; я лишь подглядывал за действиями выступавших передо мной лиц; и из этих действий вырисовывалась мне чуждая, незнакомая жизнь, комнаты, служба, семейные отношения, посетители и т. д.; так появился сын сенатора; так появился террорист Неуловимый и провокатор Липпанченко, вплоть до меня впоследствии удививших подробностей; в провокаторе Липпанченко конечно же отразился Азеф; но мог ли я тогда знать, что Азеф в то самое время жил в Берлине под псевдонимом Липченко; когда много лет спустя я это узнал, изумлению моему не было пределов; а если принять в внимание, что восприятие Липпанченко, как бреда, построено на звуках *л-п-п*, то совпадение выглядит поистине поразительным.

С того дня, как мне предстали образы «Петербурга», я весь ушел в непрекращающийся, многонедельный разгляд их; восприятие прочего занавесилось мне тканью образов, замыкавших меня в свой причудливый мир; но я ничего не придумывал, не полагал от себя; я только слушал, смотрел и прочитывал; материал же мне подавался вполне независимо от меня, в обилии, превышавшем мою способность вмещать; я был измучен физически; но не в моих силах лежало остановить этот внезапный напор; так прошел весь октябрь и часть ноября; ничто не пробуждало меня от моего странного состоянья.

. . . .

Наконец пришлось-таки пробудиться; грянул трескучий мороз; стены мгновенно промерзли; в углах на аршин поднялись разводы инея; мы со всем скарбом, бросив Расторгуево, оказались в Москве, в небольшой комнатке неуютной квартирки Поццо, где быт Кампиони, Поццо и прочих «родственников» таки нас с Асей давил; у нас не было отдельного помещения, где могли бы мы изолироваться; в таком грустном обстании вставал прямой вопрос, как мне работать над «Петербургом», который надо было срочно сдавать в декабре; все же выход нашелся; по совету Рачинского я уехал в Бобровку, куда Ася должна была скоро приехать; очутившись в пустом доме (хозяйка только наведывалась, проживая в имениях родственников), я опять погрузился в мрачнейшие сцены «Петербурга», там написанные (сцена явления Медного Всадника, разговор с персидским подданным Шишнарфнэ и др.); должен сказать, что я усиленно работал над субъективными переживаниями сына сенатора, в которые вложил нечто от личных своих тогдашних переживаний; сиро было мне одному в заброшенном доме в сумерках повисать над темными безднами «Петербурга»; в окнах мигали помахи метелей, с визгом баламутивших суровый ландшафт; в неосвещенных, пустых коридорах и залах слышались глухие пóскрипы; óхи и вздохи томилися в трубах; через столовую проходила согбенная фигура того же глухонемого с охапкою дров; и вспыхивало красное пламя в огромном очаге камина; я любил, сидя перед камином, без огней, вспоминать то время, когда здесь, в этих комнатах, задумывался «Серебряный голубь»; и ждал с нетерпением Асю; суровое молчание дома тяготило меня.

И вот — она.

Но она испугалась бобровского дома:

— «Не переношу этих старых помещичьих гнезд, обвешанных портретами предков. Не люблю этих шорохов, скрипов».

Если принять во внимание, что мною написан здесь ряд кошмарных сцен «Петербурга», то обстановка нашего быта слагалась неважная; Ася томилась, не зная, чем ей заняться; приезд на несколько дней А. С. Петровского нас разгулял; но он уехал; и та же конденсированная жуть молчания, одиночества; Ася не выдержала и, бросив меня, уехала к сестрам в Москву, еще раз доказавши, что нам с ней нечего делать; я же не мог оставить своего поста, ибо сидел с утра до вечера, оканчивая заказанную мне порцию, которую тотчас же должен был сдать «Русской Мысли» для получения сле-

дуемой мне тысячи рублей; и тут-то я напоролся на инцидент со Струве, надолго разбивший меня.

ИНЦИДЕНТ С «ПЕТЕРБУРГОМ»

Помню, с каким пылом я несся с рукописью «Петербурга» в «Русскую Мысль», чтоб сдать ее Брюсову; рукопись сдана; но Брюсов, точно споткнувшись о нее, стал заговаривать зубы вместо внятного ответа мне; он говорил уклончиво: то — что не успел разглядеть романа, то — что Струве, приехавший в это время в Москву, имеет очень многое возразить против тенденции «Петербурга», находя, что она очень зла и даже скептична; то, наконец, что «Русская Мысль» перегружена материалом и что принятый Струве роман Абельдяева не дает возможности напечатать меня в этом году; все эти сбивчивые объяснения раздражали меня невероятно; прежде всего я считал, что заказанный мне специально роман не может не быть напечатанным, что такой поступок есть нарушение обязательства: заставить человека в течение трех месяцев произвести громаднейшую работу, вогнавшую его в переутомление, и этой работы не оплатить; Брюсов вертелся-таки, как пойманный с поличным; разрываясь между мною и Струве, то принимался он похваливать «Петербург», с пожимом плечей мне доказывая: «Главное достоинство романа, разумеется, в злости, но Петр Бернгардович имеет особенное возражение именно на эту злость»; то он менял позицию и начинал доказывать, что роман недоработан и нуждается в правке; это ставило меня чисто внешне в ужасное положение; я был без гроша; и не получив аванса, даже не мог бы продолжать писать; в течение целого месяца я атаковывал Брюсова, все с бо́льшим раздражением, приставая к нему просто с требованием, чтобы он напечатал роман; много раз наши почти безобразные с ним разговоры происходили в редакции «Русской Мысли» в присутствии бородатого Кизеветтера, туповато внимавшего нам, и пуча глаза, потрясавшего хохлом; неоднократно я, как тигр, настигал Брюсова в Обществе свободной эстетики, где я устраивал ему сцены в присутствии И. И. Трояновского и Серова; Брюсов особенно корчился здесь, потому что симпатии членов комитета «Эстетики» были на моей стороне; и все видели, что старинный соратник мой по «Весам» явно отвиливает от меня; я, наконец, кидался к С. Н. Булгакову с жалобой на Струве; С. Н. недоумевал, хмурился и приходил от поведения Струве в негодование; в то время я еще не видел, в чем корень ярости Струве на «Петербург»; и только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя, тогда как у меня не было и мысли его задеть; тем больнее в него я попал; он был в бешенстве; кончилось тем, что он мне на дом лично завез рукопись, и не заставши меня, написал записку, в которой предупреждал: не может быть речи о том, чтобы «Петербург» был напечатан в его органе; более того, он не рекомендует вообще печатать роман где бы то ни было; в этом предупреждении слышалась доля угрозы, что буде так, он камня на камне не оставит от «Петербурга»; очень жалею, что вскоре я письмо потерял, ибо одно время я хотел его напечатать, как предисловие к роману, т. е. принять вызов Струве: пусть-де рассудит нас будущее; как бы то ни было, эта месячная борьба со Струве и Брюсовым убила меня; я был почти болен, не зная, что́ делать, как жить.

Вдруг неожиданно получаю переводом 500 р. и вслед за ними прекрасное, нежное, деликатное письмо Блока; он пишет, что слышал о моем бедственном положении, и умоляет принять от него эти деньги и спокойно

работать над продолжением «Петербурга»; он-де только-что получил от покойного отца наследство и на несколько лет-де вполне обеспечен; оставалось принять благородную помощь друга; письмо Блока поддержало меня морально; и я уехал на праздниках в ту же Бобровку, продолжать свой роман несмотря ни на что; отказ Струве лишь подхлестнул мое самолюбие.

Не тут-то было; я — в Бобровку, а вслед за мною письмо; и такого рода, что я опрометью из Бобровки в Москву; письмо — анонимное, наполненное всякими инсинуациями против Аси; к ужасу моему, автора письма я узнал; это определило непреклонность решения вырваться из России скорей, какою угодно ценой; российская почва проваливалась под ногами; воздух Москвы отравлял; и тут — сердечнейшее приглашение от Вячеслава Иванова; он-де и его друзья сильно заинтересованы «Петербургом» и жаждут прослушать роман; есть-де ряд серьезных мотивов приехать нам с Асей; этот вызов нас, по последствиям, — огромная помощь, подобная 500 р., присланным Блоком; я попадаю на подготовленную агитацией В. Иванова почву; «Петербург» мой весьма популярен; у В. Иванова на башне ряд чтений моих, на которых присутствуют Городецкий, Толстые, и даже затащенный сыном редактор «Речи» И. В. Гессен; все рассыпаются в комплиментах; история, только-что пережитая мною со Струве и Брюсовым, оборачивается против них; я получаю ряд предложений от издательств, желающих тотчас же напечатать роман; в результате этого успеха я продаю роман издателю Некрасову; ура! обеспечен побег за границу! Добыта нужная до зареза тысяча. Но ставший бардом «Петербурга» Е. В. Аничков и Вячеслав Иванов настаивают: роман — богатейшее приобретение для нужного петербуржцам журнала; Аничков берется достать несколько тысяч; и вызывает спешно Метнера в Петербург; если он пожертвует несколько тысяч рублей со своей стороны, то средства для журнала налицо; спешно приехавший Метнер, конечно же, не обещает ничего точного; этим журнал повисает в воздухе; впоследствии Метнер жестоко меня обвиняет в том, что я продал роман Некрасову; что же мне оставалось делать, коли издательство, хваставшееся, что оно существует для меня, проворонило «Петербург», к которому выказывало систематическое невнимание; Метнеру, кажется, роман вовсе не нравился; Вячеславу Иванову, Аничкову и ряду других петербуржцев обязан я — не Москве, не друзьям «мусагетским», где мне советовали писать романы в духе Крыжановской; так в спешном порядке осуществлялись лихорадочные подготовления к отъезду за границу; последние дни были омрачены инцидентом добывания лишней тысячи, нужной, чтоб продлить пребывание в Брюсселе и вообще за границей; я обязывался написать для «Пути» монографию о поэзии Фета; спор шел о том, дать ли мне тысячу сразу или высылать порциями; мои друзья «путейцы» и «мусагетцы» были весьма озабочены составленьем подробнейшего бюджета; они высчитывали, сколько мне нужно, чтобы прожить месяц; и так набюджетили, что решили: на двести рублей можно-де великолепно прожить; да, можно бы, но — минус папиросы! Про папиросы забыли они; узнавши об этих расчетах, рвал и метал П. д'Альгейм, с пылкостью защищавший мои интересы, и даже одно время мечтавший достать мне свободную тысячу; но — для чего? Чтобы, пригласив знатоков моего бюджета, угостить их обедом, стоящим ровно тысячу; и этим их «проучить»; на такое безумие я не пошел.

Нас провожали прекисло; друзья-благодетели разобиделись прежде срока; через полтора только месяца в Москве затвердили: Белый-де, предавши заветы свои и забыв символизм, потерял вдруг талант (в это время как раз я писал «Петербург»); это брюзгливое настроенье — уже атмосфера унылых проводов нас за границу; я насолил москвичам простым фактом отъезда; уезжая ж я знал, что в Москву не вернусь; но как это сделать — стояло в тумане.